



ПАВЕЛ ЛЕМБЕРСКИЙ ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ: ОДЕССКИЕ ТЕКСТЫ

# K R E

International

Literary

magazine

# S C H A

# T I K

ПАВЕЛ  
ЛЕМБЕРСКИЙ

ОПЯТЬ  
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ:  
ОДЕССКИЕ ТЕКСТЫ

БИБЛИОТЕКА «КРЕЩАТИКА»  
ПОЕЗИЯ, ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА



ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР  
ОЛГА ФЕДОРОВА



**Павел  
ЛЕМБЕРСКИЙ**

**ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ:  
ОДЕССКИЕ ТЕКСТЫ**

**Друкарський двір  
Олега Федорова  
Київ, 2024**

УДК 821.161.1'06(73)-32

Л 44

СЕРІЯ «Бібліотека “КРЕЩАТИКА”»

Заснована у 2023 році

*Дизайн обкладинки*

*Alexandra Rozenman. Just That. 2014*

*(www.alexandrarozenman.com)*

*Фото автора: Vladimir Efroimson*

### **Лемберський П.**

Л44 Знов двадцять п'ять: одеські тексти / П. Лемберський —  
Друкарський двір Олега Федорова 2024 — 152 с.

ISBN 978-617-8169-44-2

До нової збірки прози письменника та сценариста Павла Лемберського увійшли оповідання та уривки з повістей, що відображають життя в Одесі 60–70-х років. В інших текстах ліричний герой повертається з Нового Світу в місто юності, і ці його зусилля розрізнити знайомі риси в місті, що значно змінилося, як правило, стикаються з низкою складнощів об'єктивного та суб'єктивного характеру, чимось схожих з марнотою спроб повернути минулу молодість.

**УДК 821.161.1'06(73)-32**

ISBN 978-617-8252-14-4 (серія БК)

ISBN 978-617-8169-44-2

© Лемберський П., 2024

© Федоров О.М., видавець, Київ 2024

*Светлой памяти моей мамы  
ЛиИ Иосифовны Бершадской  
(1929–2022)*



## От автора

Почему «Опять двадцать пять»? Потому что сборник состоит из двадцати пяти текстов разной степени «одесскости», написанных за четверть века. В книгу не вошли рассказы, сочиненные до 1991 года, когда писал, в основном, сценарии, а начиная с 2016 года и вовсе стал писать прозу на английском. Может сложиться впечатление, что пишу неспешно и не так чтобы много. И все же простое арифметическое действие: 25 текстов разделить на 25 лет даст результат неверный, поскольку знаю точно (и тому есть свидетели), что пишу со скоростью, превышающей один текст в год. А если учесть, что Одесса так или иначе присутствует не только в рассказах, повестях и романе, отрывки из которого я включил в эту книжку, но — пусть неуловимо и исподволь — также и в текстах, в книгу не вошедших, и даже в новом романе на английском след неповторимого города вполне осязаем, то, во-первых, можно полусхотая утверждать, что пишу не покладая рук — и большей частью про Одессу. А во-вторых, раздвигая рамки чуть потрепанного изречения, правомерно будет вспомнить о мальчишке, которого можно, наверно, забрать из родной Одессы (а в некий момент — и из родного языка), но словесную избыточность, присущую литературной школе Юго-Запада, как, впрочем, и неискоренимый одесский дух вольной импровизации, витающий над текстами, собранными под этой обложкой, у мальчишка отобрать немислимо. Солнечный город детства, оставленный в 1976 году (причем, оснований считать, что расстанусь с Одессой навсегда, в те далекие годы было более чем достаточно) — не отпускает, манит, приходит во сне в цветущих акациях, словно в старой песне Леонида Утесова на стихи Семена Кирсанова...

И эта связь с родным городом, несмотря на около полувека, которые автор провел на Западе, стала ощутимей стократ за два года чудовищной войны, развязанной РФ на территории Украины 24 февраля 2022 года, когда Одесса, в числе десятка других украинских городов, впервые подверглась бомбардировкам противника — и интенсивные разрушительные воздушные атаки агрессора, к огромному несчастью, продолжаются и по сей час. За мартовские дни, пока сборник готовился к печати, по Одессе были произведены новые удары врага, наиболее масштабные с начала вторжения неприятеля в Украину по количеству жертв гражданского населения, и среди погибших в результате смертоносных «прилетов» есть дети. Горе и слезы, нет слов, рвется сердце, душит ненависть, опускаются руки и уж точно не до литературы... И все же. Что еще остается писателю, помимо чтений-фандрэйзеров и просто фандрэйзеров — в поддержку семьям пострадавших, в пользу беженцев, в помощь ВСУ?

Писателю, рожденному и выросшему в Одессе, остается собрать книгу одесских текстов, наработанных за четверть века и отобразивших мирное время — в надежде, что время это вернется, и вернется скоро — и этой малой толикой, этой каплей в море сострадания человеческому горю земляков выразить неподдельную солидарность с родной Одессой, воздать дань преклонения перед героическими защитниками города и повторить еще и еще раз слова уверенности в победе Украины в смертельной схватке с врагом. Все буде Україна!

*Павел Лемберский*

## ПРОЩАЙ, ДОС ПАССОС!

Я это все к тому, что ровно двести лет назад мы жили в одном городе на берегу моря и летом наши тела покрывал шоколадный загар. Мы рано начали курить и в июле развлекались, бросая окурки папирос с балкона на спор: долетят они до тротуара или повиснут на листьях платана, качаясь. Мы щурились от едкого дыма зажатых в углу губ болгарских сигарет и исполняли на гитарах песни популярных композиторов. В сумерки мы выходили с возлюбленными. Нам завидовали. Было чему: молоды, расклевены, щебетали на плохом английском, смеялись преувеличенно весело. Распались, правда, битлы. Ну и что? Ну, распались битлы. Зато глаза ее были совершенно бездонны.

А встречи рассвета на бульваре? Прохладный квас душной ночью? На площади — никого. Сидим у памятника и читаем твоего любимого Манна. Вслух. Томаса, Томаса. Любили театральные жесты в общественном транспорте: граждане, ваши билетики? у меня проездной; потом ловля зайца всем автобусом, или у того же Брейгеля у меня на даче зимой на репродукции, родителей нет, света тоже, мы втроем в темноте, пьем глинтвейн из одного стакана. Молоды мы, понимаешь? У меня вопрос. Куда это все уходит, оставляя изжогу? Куда? В песок? Сквозь пальцы? Куда?

Хей Джуд? Пели. Все пели. Похоже, что кроме Битлз у нас ничего не осталось. Но ведь и их у нас уже нет.

Ваша первая встреча? Сейчас напомню: субъект — ты, нос с горбинкой, глаза с поволокой, чувственные губы, каштановые волосы, вельветовый пиджак, поистершийся на локтях. Пальто — одно слово: драп. Ждешь ее на углу,

где «Лакомка». Она — сама невинность, кожа да кости, дышит легко, лань с хвостиком, одни глаза чего стоят! В движениях робость, неловкие шутки, в кино поздно, домой рано, в кабак — напряг с бабками, целоваться — милицию позову. Кто родные, пока неясно, а у тебя — мама врач, папа врач, дедушка врач, бабушка умерла, врач первой категории. И ты не прочь на врача, эта профессия у вас в крови, дерматологи Розенбоймы. А она из другого города, здесь не так давно, говорит не по-здешнему, пишет с ошибками, и вообще — о, ужас! — Фейхтвангера не читала. Да не вагнера — вангера. «Иудейская война»? Это о событиях на Ближнем Востоке, да? «Еврей Зюсс»? У нас во дворе есть портной Зюсс. Сеня Зюсс, звонить 3 раза.

А вот еще такой поворот: ее немой обожатель, сын работника органов, и сам туда метит, в сплошной «фирме»: платформы, «ливайсы», куртяк, косяк, «Машин Хэд», батин «Грундиг», — нервничает, кусает локти, мечтает упрятать нашего Ромео на много лет вперед без права переписки, а ты, как назло, очень любишь эпистолярный жанр, да и она без ума от твоих эпистол. У вас, видите ли, почтовый роман через посредство одного сизого голубя с перебитой лапкой — я тогда месяца два ходил в гипсе: грохнулся с велосипеда; на ее адрес писать нельзя было, у нее предок был тот еще фрукт. Ты ведь не здесь поступил, здесь хотели три штуки, чтоб в медин, а твой дядя (тоже врач, правда, отоларинголог) наскреб всего полторы, а за полторы только строительный, а ты не хочешь строить, тебя от одного словосочетания «дирекционный угол» в дрожь бросает, ты хочешь лечить, или на худой конец на «иняз» — чтобы трилогию Фолкнера без словаря, чтобы трилогию Дос Пассоса в оригинале, чтобы Форда Мэдокса Форда, как свои пять пальцев. Так оно и вышло — за полторы на «иняз», правда, в Ростове. И вот, у «Лакомки» ты подносишь к губам ее руку, ибо хочешь согреть, а она смеется в смущении, ибо признательна.

А ейный немой обожатель настучал на тебя, и еще дружков своих на тебя натравил, потому как органы органами, но физдюлей, извините за прозу жизни, вломить тоже не помешает. Для острастки. Короче: кровь из носа и на драп, она в слезы, ты в сугроб. Она помогает тебе подняться, ты опираешься на ее худой локоть, хочешь острить, но ощущаешь нехватку зубов. Так начался ваш роман. Что было дальше? Насколько я помню — времена года.

Зимой несколько ироничен. Прошло недели три. Конец февраля. Опять сугроб, в сугробе — веник. Соседка жаловалась: «Давление. И не топят». Вы виделись редко, когда виделись — ссорились. Я вас старался избегать вдвоем. Как-то смотрел из-за киоска сквозь слезы. Вы целовались, дробясь, целовались. Однажды стоял на углу, где «Лакомка». Она подошла сзади, положила ладони на глаза. Я по запаху догадался. Ладони пахли твоим табаком. Она удивилась: «Как ты узнал?» Я отшутился. Она спешила на лекцию. Польские сапоги скрипели на снегу. Интересно, если бы я ей тогда признался, как бы сложилось все? Так же или иначе?

Весной несколько романтичен. Светлый плащ, бакенбарды, у нее шиньон. Она пощипывает мочку твоего уха, ты цитируешь Надсона, я делаю вид, что погружен в телевизор. «Ирония судьбы» или «Без права быть собой», не помню уже. Тебя прозвали гладиатором, думали, ты только гладил ее терпеливо. Оказалось — не только. Еще щекотал языком соски — икры ее тогда покрывались мурашками. Отец ее, как выяснилось, преподавал термодинамику, мама тоже. Сейчас ей тридцать четыре, сыну скоро десять. Говорят, она подурнела, поправилась. Не знаю, для меня она такая же, как тогда.

Осенью чуть меланхоличен. Еще бы! Папочка ее немного обожателя упрятал твоего дядю на много лет вперед, статья — дача взятки, тебя поперли с «иняза», декана тоже.

Прощай, Дос Пассос! На горизонте стройбат. Но строить ты по-прежнему не хотел, а вместо этого решил подать на выезд и стал помаленьку готовиться. За ней обещал вернуться и забрать, но не вернулся и не забрал, а вместо этого отпустил бороду, купил дом с участком, торгуешь компьютерами где-то под Цинциннати. Сначала она плакала по ночам, потом успокоилась, потом вышла за своего немного обожателя, — у него с твоим отъездом, кстати, прорезался довольно приятный баритон. Каждый вечер он ей приносит цветы, каждый вечер. Значит, любит. Значит, органы тоже способны на большое чувство...

...Я открываю дверь, она в своем застиранном халате, курит «L&M», ворчит: «опять гладиолусы», наш сын играет с эрдельтерьером на балконе... Я благодарен судьбе за все. Кроме нее, мне никогда ничего ни от кого не надо было. Никогда ничего и ни от кого.

О тебе мы почти не вспоминаем. Нет повода. Вот разве что летом. Летом ты был какой-то не такой. Подолгу смотрел мне в глаза, спрашивал: «За что ты меня так ненавидишь?». Я обижался: «Больной на голову, да?». Ты заливался театральным смехом, я пожимал плечами, вертел пальцем у виска, ты толкал меня в спину и говорил не то утвердительно, не то вопросительно: «А ты, парень, шуток совсем не понимаешь».

1993

## УРОКИ ВОЖДЕНИЯ И ДРУГИЕ УРОКИ

В шестнадцать я часто болел. Насморк, кашель, менингит, воспаление среднего уха, ангина. Заболел, выздоровел, снова заболел, опять выздоровел. Весь десятый класс видится старой историей болезни с подтеками канцелярского клея и черно-белыми иллюстрациями рентгеновских снимков. Вот мое легкое той зимой. Где вы видите опухоль? Не выдумывайте. Это химиката пятнышко.

Во время болезни ко мне приходил Севка — слушать музыку, делиться сплетнями, но, в основном, отговаривать уезжать. Его мама, арфистка тетя Стелла пела ту же, примерно, песенку, но в несколько иной аранжировке. «Чем ты там их будешь брать, Витя?» — встречала она меня в дверях одним и тем же вопросом, когда я забежал к ним за Севкой. Кого «их», и куда их надо было брать — я четко не понимал, но уточнять не хотел — дома мне советовали ни с кем, даже с близкими, ни в какие дискуссии, связанные с предстоящим отъездом, не вступать. А Севка — тот прямо говорил, что мне там будет хуже, чем самому затрушенному негру. И хотя эта его гипотеза вызывала у меня целый ряд возражений, но опять-таки, на политические темы я старался не говорить, даже со своим лучшим другом Севкой. И уж, разумеется, в том, что к идее переезда я был безразличен, я бы не признался ни за какие коврижки. Наоборот, на людях мой энтузиазм не знал границ. Вполне возможно, что Севка догадывался о двойственности моей позиции и своими доводами старался вызвать меня на откровенность или, по крайней мере, уличить в неискренности. А может быть, ему просто было жаль терять друга, и пото-

му вплоть до самого нашего отъезда он не прекращал меня обрабатывать. Хорошо, что дедушка Эмма не был свидетелем этих Севкиных выступлений, иначе Севке точно не поздоровилось бы. Подобные разговоры, по мнению бабушки, ослабляли боевой дух, столь необходимый нашей семье для успешного осуществления операции «Бассейн с подогревом» — такое кодовое название мы дали нашему предстоящему перемещению на Запад. Тем более, дедушка не потерпел бы подобных разговоров от Севки. Севку дедушка почему-то считал наркоманом и развратным типом, оказывающим на меня плохое влияние. Первое было явным заблуждением — Севка и сигарет почти в рот не брал, не то что дури. Что касается разврата, то и тут дедушка был далек от истины; конечно, если не считать того случая, когда Севкин двоюродный брат, вернувшись из армии, затащил его к одной продажной женщине, она жила на Садовой, и угостил ею. Но разве это разврат? Это скорее ритуал посвящения в таинства любви, а не разврат. Поначалу Севка у нее в гостях жутко растерялся, но когда та, повернувшись к нему спиной, показала на пальцах что куда, он довольно быстро освоился — способный был — и давай проказничать. Очень Севке у нее понравилось в тот вечер, и на женщин с тех пор — особенно весной — стал глядеть он с новым каким-то пониманием.

— Послушай меня, дурака, — говорил Севка, развалившись у меня дома на диване. — Не надо тебе никуда ехать, Витечка.

— Чего это? — спрашивал я.

— А того, — отвечал мой друг. — Сдается мне, эмигранту там еще хуже, чем тут еврею.

— Ты поясни, а то непонятно говоришь, — просил я.

— Язык, — сказал он и, выдержав эффектную паузу, добавил: — Знаешь, зачем он?

— Чтоб общаться?

— Садись, два, — говорил мой друг. — Чтоб мозги полоскать, глупенький. Чтоб никто не знал, кто ты, что ты, и что у тебя внутри. Ты ведь у нас отнюдь не дурак попиздеть, Витечка. Так мозги заполощешь, хрен у тебя что поймешь. Включая национальную принадлежность.

— И что из этого?

— А то из этого, — отвечал он покровительственным тоном, — что только ты рот там раскроешь, только ползвучка издашь, как тебе сразу: вы откуда? давно тут? и как вам у нас? Вот и подумай: приятно всю жизнь провисеть эдаким жуком на булавке, а под тобой наклейка — «Род: чужой. Вид: не отсюда»?

— Сева, — говорил я чуть торжественно (ему покровительственно можно, а мне торжественно — нельзя, что ли?), — чтоб ты знал, Сева: Америка — страна эмигрантов.

— Витя, — отвечал Сева мне в тон, — чтоб ты знал, Витя: Япония — страна восходящего солнца.

— Опять непонятно, — разводил руками я.

— Объясняю, — охотно отзывался Сева, и действительно объяснял, но, если не изменяет память, довольно невнятно.

Мы с Севкой дружили с пятого класса: вместе прогуливали контрольные по геометрии, вместе балдели на битловском «Сержанте», чуть повзрослев, вместе шлялись по бульвару, наперебой цитируя Мандельштама смешливым курортникам. А еще у нас была вот такая фишка: чуть ли не с тринадцати лет мы регулярно обменивались друг с другом сновидениями. «Папа на днях скончался», — сообщал мой друг жизнерадостно. «Что-нибудь серьезное?» — справлялся я. «Ничего особенного: роды», — отвечал он голосом работника морга. «Физичку обоссал пучком нейтрино, — делился я с ним. — Что ты думаешь: с этой дылды как с гуся вода». Ну и так далее. Причем, особым шиком у нас с Севкой считалось, во-первых, не предварять эти фразы словами «мне снилось, что», а во-вторых, вести наши бе-

седы как можно громче и по возможности в переполненном общественном транспорте, что, естественно, не могло не вызывать у висящих рядом с нами граждан пассажиров известного недоумения, от которого до раздражения — особенно в час пик — было рукой подать.

Однажды Севкин отец, случайно оказавшийся с нами в троллейбусе, подслушал один из таких разговоров, после чего мой друг был жестоко наказан и целых три дня не появлялся в школе, поскольку сидеть не мог, а стоять не хотел. Севкин отец после этого случая несколько раз звонил моему папе и советовал принять по отношению ко мне аналогичные меры, но папа вежливо попросил его не в свои дела не вмешиваться и сосредоточиться на воспитании собственного сына. Что касается нашей с Севкой привычки, то от нее мы не отказались, и снами продолжали обмениваться, но делали это с тех пор не так громко и на людях старались не выкаблучиваться.

Незадолго до нашего отъезда Севкин отец — старый автомобилист, добровольно вызвался давать мне уроки вождения — у ожидающих визу считалось, что без водительских прав в Америке делать решительно нечего. Я предлагал ему деньги, он отказывался.

— Приеду в гости, — говорил Севкин отец с хитрой улыбкой, — прокатишь на своем белом «Кадиллаке», хлопец.

Как-то на одном из наших последних занятий обгоняю я грузовик на Люстдорфской дороге, а он мне, — тоже еще нашел время:

— Слушай, а чего это у тебя, Витя, девушки нету?

Я густо покраснел, нахмурился, стал лепетать что-то насчет «хорошей специальности, без которой...», и что, вообще, сначала не мешало бы на ноги встать.

— Ну ты даешь! На какие такие ноги? — усмехнулся Севкин отец. — Тебе ж еще семнадцати нет. А, Виктор?

Вместо ответа я решил сосредоточиться на трассе, а он пошел рассказывать, как в прошлом году давал уроки вождения жене капитана китобойной флотилии, и как от нее

хорошо пахло заграничными духами, и как по окончании курса, дело было зимой, он принимал у нее экзамены прямо в лесу на морозе, причем, она сначала не хотела на снегу, но у него был один очень веский аргумент (в этом слове он сделал ударение на втором слоге), и ей в конце концов пришлось ему уступить.

— Вот так, Виктор. А ты — на ноги встать. Это всегда успеется. Сейчас тебе самое время девок за жопу хватать. Я так понимаю, — заключил Севкин отец.

Я покосился в его сторону. Он дымил «Беломором», пепел оседал на его нечесаной бороде, она старила его лет на десять.

— Если б ты только видел, Витя, как малофейка замерзает при ниже нуля!

«Ну что, что они в нем находят? — думал я. — И откуда у человека эта непробиваемая уверенность в себе? На чем она, интересно, держится? И отчего у меня ее нет? Я ведь моложе, стройнее, возвышенней».

— Всю дубленку снегурке узором расписал.

«А может, у него секрет какой есть? — рассуждал я. — Нет, он у всех есть, конечно. Но может, у него он секретней? И длиннее? Вот вам и вся разгадка. Вот они и млеют, капитанши».

Вообще-то Хазинóва — так все его в городе звали, настоящая фамилия его была Хазин, — был просто сдвинут на сексе. Что под руку попадет — с тем и сношался. Севка рассказывал, как однажды подшофе он даже трахнул соседский фотоувеличитель. Потом минут двадцать отмачивал член в закрепителе при красном свете.

— Осторожней! — прикрикнул он и нажал на запасной тормоз. — Не на меня, Витя — на дорогу смотри.

— Главное — это в струю попасть, — наставлял Севкин отец. — Маневрируй так, чтобы попасть на зеленый. Один раз на зеленый попал — и дело в шляпе. Всю дорогу едешь себе будто в зеленой волне. Это как с телками: главное первый раз вставить, а там... ого-го!

Тут мне придется прервать его ненадолго, чтобы рассказать историю знакомства Хазинóвы с Севкиной мамой, тетей Стеллой Бидонец. История эта, на мой взгляд, не лишена любопытства. Поведал ее мне дедушка Эмма уже в Америке, а он, в свою очередь, услышал ее от Давида Абрамовича Кондуктора, покойная жена которого приходилась троюродной сестрой отчиму тети Стеллы Бидонец. Вот эта история почти без купюр.

### ИСТОРИЯ ЗНАКОМСТВА ХАЗИНÓВЫ С ТЕТЕЙ СТЕЛЛОЙ БИДОНЕЦ

Хазинóва и тетя Стелла Бидонец познакомились и полюбили друг друга на званом обеде у общих приятелей по фамилии Фуко. Вернее, Хазинóва дружил с мужем Фуко, а тетя Стелла — с женой. Евгений Фуко был известным в городе хирургом, а его жена, Полина Фуко, в девичестве Лапшина, преподавала математику в сто шестнадцатой школе и в молодости недурно танцевала. По словам дедушки, личико у нее было точь-в-точь как у одной популярной актрисы сороковых годов (я запомнил имя актрисы). Однажды, примерно за неделю до обеда, на котором познакомились и полюбили друг друга Хазинóва и тетя Стелла Бидонец, супруги Фуко поцапались. Ничего серьезного — обычная семейная ссора, о которой обычно забываешь на третий день («Женишься — поймешь, пока поверь на слово», — ввернул тут дедушка Эмма). То ли новое платье жены не пришлось Жене Фуко по вкусу, то ли между ними возникли кое-какие трения в связи с интимной стороной их супружеской жизни — не знаю, поскольку дедушка этого не знал, да и Кондуктор тоже не знал. Однако факт оставался фактом — неприятный осадок после ссоры не растворился, и во время обеда, на котором познакомились и полюбили друг друга Хазинóва и тетя Стелла Бидонец, постоянно возникали неловкие паузы, которые даже весьма остроумные тосты Хазинóвы за белизну золотых рук на-

шей драгоценной хозяйюшки — не могли сгладить в полной мере. Тосты Полина выслушивала с большим вниманием и доброжелательностью, польщенная, она то и дело скрывалась на кухне и тот же час вновь появлялась в гостиной то с уткой с яблоками, то с пирогом с мясом, то с блинами с икрой. Однако трение между супругами Фуко не уменьшалось, и ни одна колкость, роняемая хирургом в адрес жены, не ускользала от проницательного Хазинóвы, хотя внимание его почти безраздельно было сосредоточено на будущей жене — молодой кокетливой арфистке с тонкими губами, волевым подбородком, маленьким розовым носиком и очками в массивной черной оправе с толстенными стеклами, за которыми глаза ее представлялись ему двумя карими пуговичками. Так он ей тремя часами позже и нашептывал, подпрыгивая на заднем сиденье полупустого троллейбуса: «У тебя... глаза словно... двека... риепуго... ..чки».

За столом она была немного рассеяна, на комплименты отвечала невпопад, время от времени роняла кусочки пирога на свой зеленый люстриновый пиджак, при этом умудряясь строить Хазинóве глазки, что из-за очков удавалось ей далеко не всегда. И все же, если верить Кондуктору, она сумела-таки пленить Хазинóву. Чем? Молодостью, естественностью, свежестью, смехом — вот чем. Хотя о вкусах, разумеется, не спорят, и дедушке, например, Поля Фуко всегда казалась намного интересней. В ней, Поле, по словам дедушки, был тот несколько старомодный шарм, та ненавязчивая заинтересованность в собеседнике, которая и делает женщину женственной.

В какой-то момент Хазинóва, не спускавший глаз с арфистки, резко встал со стула и прокричал петушиным голосом: «У меня тост, наливайте скорее, мудачье!». Все ожились. Арфистка шмыгнула носиком. Хирург грубо толкнул Полину локтем в бок: «Зачем ты позвала этого жлоба?». Полина прошипела: «Чей он, интересно, друг, мой или твой?» — и обворожительно улыбнулась Хазинóве. Тот выплюнул косточку маслины — описав дугу, она приземли-

лась за пианино, — и поднял над головой бокал красного вина: «Друзья, я немного нетрезв, и потому не ручаюсь, что скажу складно, но думаю, будет от души». Хирург Фуко обратился к арфистке: «Этого я опасался больше всего, Стеллочка». Та опять шмыгнула носиком и вдобавок многозначительно прихрюкнула. Но это не смутило Хазинóву.

«Что нас влечет друг к другу, дети? — высокопарно начал он. — Боязнь одиночества, страх смерти, скука или же те соки, что нас склеивают?»

Полина пукнула едва слышно и сказала с чувством: «По-моему, Роберт, вы просто не дурак похавать на дармовщину. Я права?»

Хазинóва насупился: «Полина, милая, не надо пердеть и не надо перебивать. Ни то ни другое вам не к лицу. Все-таки это тост, а не дерьмо собачье».

Арфистка Стелла коснулась под столом бедра хозяйки: «Продолжайте же, Роберт, вы, кажется, в ударе».

Роберт учтиво поклонился: «Благодарю вас. Сразу чувствуется человек искусства, мартышка вы моя этакая!».

Стелла тихо засопела.

«Так вот, я хотел бы выпить за средства массовой информации. Нет, не за газеты и журналы, не за радио и телевидение, а за то, чем мы с вами обмениваемся, когда у нас кончаются слова!»

Хирург пожал плечами: «Снова назюзюкался, мурло». Полина опять негромко пукнула и захлопала в ладоши чуть преувеличенно, а Стелла поправила съехавшие на кончик носа очки и внимательно посмотрела на Хазинóву, отправляющего в рот очередную маслину.

Через полгода они расписались, а еще через год у них родился мой друг Севка.

*(Из повести «Операция “Бассейн с подогревом”».)*

1996

## КАК ТОЛСТОЙ ШЕКСПИРА НЕ ЛЮБИЛ

Это все из школьной жизни. Однажды мама надела шляпу и выбежала вон из квартиры — так она торопилась в школу. В автобусе она упала в обморок — так там было душно.

— Кто это? — спросили у папы в морге.

— Не знаю, — пожал плечами тот и сел на велосипед.

Тем летом мне стукнуло пятнадцать. Ритка меня любила и позволяла вольности. Я ее за это игнорировал, грубил ей:

— На хер ты мне нужна такая?

— Какая? — спрашивала она томно и не отпускала.

Мама пришла в себя только на конечной остановке — площади Льва Толстого. Он «Хаджи Мурат» написал и еще что-то против Шекспира. Не любил дедушка авторитеты. А я его не любил. И сочинение на тему «Ростовы, кто такóвы?» из принципа не написал. Поэтому маму и вызвали в школу.

— Не напишет сочинение — аттестат не получит, — сказала маме преподавательница русской литературы и языка, лысеющая и неопрятная Анна Абрамовна Гершензон тоном, не терпящим возражений.

Папа выехал из морга в подавленном настроении. Шутка ли! А тут еще неприятности на работе: новый начальник его недолюбливал, старый оказался не у дел. А знаете, кто в морге перед папой лежал на столе с номерком на ноге и скверно пах? Никогда не угадаете. Готов спорить на всё, что угодно.

Гершензонша была по уши влюблена в военрука. Он ей чем-то напоминал Печорина. Военрук девочкам указкой мини-юбки задирали, смутить их желая. Он и к Ритке приставал. А я заступился за нее как-то и съездил ему кулаком по носу. Из носа военрука потекла кровь и забрызгала весь журнал. Двойки забрызгала, тройки и четверки. А пятерок он никому не ставил. Строгий был. Прозвали мы его купцом Калашниковым.

После этого случая маму снова вызвали в школу. А я в тот момент сидел у Ритки и курил «Мальборо». Сначала она танцевала под «Червоны гитары», потом сняла трусы.

Маме в автобусе сделалось плохо — там была страшная духотища и давка.

— Не знаю, — пожал плечами папа и сел на велосипед.

— Ростовы, кто такóвы? — строго спросил военрук у мамы и звякнул маленькими шпорами.

Меня чуть не исключили из школы за хулиганство.

— Не задирай носа, — пели «Червоны гитары».

Я выпустил дым и чмокнул Ритку в попку. Она хихикнула.

Папа выехал из морга в несколько подавленном настроении.

А знаете, кто перед ним лежал в морге с номерком на ноге и плохо пах? Сдаётся? Великая русская литература, вот кто.

Это все в начале семидесятых происходило. Клеши тогда носили, туфли на платформе. Политический климат в стране был сами помните какой, но летом у моря сидеть было приятно, читать себе научную фантастику, остросюжетные детективы или в бадминтон играть.

А с Риткой мы вскоре поженились. У нас двое детей. Старший уже кооператор, младшая — поэтесса. Знаете:

«Прошло время ногами крылатыми, по местам разным, по утробам, по матери»? Это ее. У нее скоро книжка в Москве выходит.

А из школы меня тогда не выгнали благодаря усилиям папы. Из морга (в обоих случаях) он направился напрямиком в школу, где он и рассказал Гершензон и Калашникову всю эту историю.

Ну, а что было дальше, вы уже знаете: и как мама шляпу надела, и как она из квартиры выбежала, и как Толстой Шекспира не любил.

1995

## ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

Захарчика жена любила хорошо одеваться. Вкус у нее был то что надо. Она — ей на долгие годы — была чем-то похожа на Фиру, маму Захарчика. Фифочка такая, с попочкой. Захарчик, правда, был к ней равнодушен, но все равно получалось, что он любил ее больше всех на свете, поскольку все на свете были ему, по меньшей мере, неприятны.

И вот, ко дню рождения своей Фаиночки заказал он для нее у лучшего портного города Рувима Розенберга пальто из каракульчи. Пальто тот шил целых два с половиной месяца, так что готово оно было не к Фаиночкиному дню рождения, а к Международному женскому дню, но вышло оно прямо как в западногерманских журналах мод, и выглядела в нем Фаиночка как настоящая куколка. Надевала она его только по самым-самым большим праздникам, ну и в Оперный театр еще.

А дочка портного Розенберга преподавала язык в техникуме и занималась со Славиком по какой-то новой системе.

— А nipple<sup>1</sup>— говорила некрасивая и близорукая Гера Рувимовна и просила Славика показать, где это. У Славика дрожал голос, горели уши, но тем не менее он брал себя в руки и, подумав самую малость, показывал, где это. Гера Рувимовна облизывала губы и одобрительно кивала головой.

— А thigh<sup>2</sup>, — продолжала она занятия и смотрела Славику прямо в глаза.

---

<sup>1</sup> Сосок (англ.)

<sup>2</sup> Бедро (англ.)

Фаиночка платила ей по пять рублей за урок. Новая система называлась «полное погружение». Славик знал уже много существительных, но с глаголами у него все еще были кое-какие трудности.

После урока, чтобы немного придти в себя, Славик выходил на балкон и, если дома никого не было, закуривал. С балкона открывался вид на город. А во дворе соседи сушили белье. И кальсоны развевались по ветру, и безрукавки, и пододеяльники. Безрукавки развевались летом, а кальсоны и пододеяльники поближе к зиме.

«Хочу сильных ощущений, — размышлял Славик на балконе в такие минуты. — Хочу, чтоб со мной говорили тоном, не терпящим возражений. «К стенке!» — чтобы раздалось во дворе, а на втором этаже чтоб молодая женщина всхлипнула, увидев, как на грунт медленно оседает мое тело. Или чтоб позвонили по телефону и без здрасте, без всего: «Когда отдашь три тысячи?» — полюбопытствовали. «Нет, нам не надо к концу месяца, нам надо послезавтра». А можно еще проще: «Дрянь, а ну-ка руки из карманов, живо!». Или: «Мерзавец, в угол!». И только любимая или ее лучшая подруга вечером ласково заглянет в глаза и спросит: «Милый, ну что стряслось? Ты сегодня не такой какой-то. Опять в школе неприятности, да?». — «Ох, дура ты, дура, — не на шутку рассердится на девушку Славик в своих мыслях. — Неприятности!? Нашу фракцию разгромили, меня во дворе к стенке ставили, этим подонкам опять понадобились деньги!..». Она (перебывает): «Да, я в курсе, мне соседка говорила. Она все-все видела!». — «Она все-все видела!» — мысленно передразнит Славик любимую и, выбросив окурок, вернется в комнату, наденет новые туфли, завернет в газету полотенце и помчится к любимой принимать ванну.

Любимую Славика звали Оксанкой. Она была сестрой футболиста. Она сидела на стуле. Ее брат бегал по телеви-

зору. Хорошо бегал, быстро, уверенно. Славик чмокнул ее в лоб и пошел принимать ванну. Потом ванну принимала Оксанка. Потом Славик и Оксанка отдыхали после ванны: он на стуле, она — у него на коленях. От нее пахло яичным шампунем. Славик так и млел, так и млел, а она не отрывалась от брата-полузащитника в гольфах и с цифрой «8» на грязной футболке. Ее брат был известным футболистом, она была студенткой-заочницей, а Славик заканчивал десятилетку и готовился поступать в сельскохозяйственный. Той весной у Славика часто отключали воду, и он приходил к Оксанке принимать ванну.

Оксанка не могла оторваться от брата на экране. Вообще, наши играли неплохо, но счет к концу первого тайма так и не был открыт. Ноль-ноль. И Оксанкин байковый халат, к слову, тоже. Славка любил ее, а она его мучила и не раздвигала ноги, упрямая, а он ее так просил! Брови ее были кустисты, норов крут, но, если вникнуть, как полагается — застенчив и шелковист. А как Славкина гусеница перешла-таки в ее бабочку — это тема отдельного разговора.

Фаиночкино пальто из каракульчи было проиграно Славиком в «очко» в сентябре того года. Фаина до сих пор не может ему этого простить. Гера Рувимовна с отцом уехала в Израиль. Он уже давно на пенсии, а она устроилась там экскурсоводом. Замуж она так и не вышла.

— To squeeze one's buttocks tightly<sup>1</sup>, — объясняла она Славiku новый урок незадолго до отъезда, а он делал вид, что не понимает. Ну, не нравилась она ему. Ему Оксанка нравилась.

1991

---

<sup>1</sup> Крепко сжимать ягодицы (англ.)

## ПО ТУ СТОРОНУ ТИБРА

— Внешпосылторг, — отрубил он. Она же шинковала как заводная. Им было под сорок, у нее недавно удалили зуб мудрости, он собирал негашеные марки, его коллекцию оценивали в двести пятьдесят рублей, а он уперся в триста, и все тут.

— Внешпосылторг? — переспросила она. Им вдвоем было тесно на кухне, но вместе работа у них спорилась. Он ущипнул ее, она сказала: «ай», но шинковать не переставала ни на минуту.

— Ты что, оглохла? Внешпосылторг! — рявкнул он, пытаясь заглушить беснующуюся сковородку. Тут эту сцену, видимо, придется прервать, чтобы стать свидетелями событий, вплотную приведших к зачатию Славика.

Как Захар поругался с Фаиной? Очень просто. В середине пятидесятых он, тогда еще с усами и в звании офицера, напевал, перевирая слова и потупив взор:

Широка страна моя родная,  
Много в ней полезных ископая, —

а в голове у него свербило вот что: «вы же мне всю жизнь исковеркали, гады! Чтоб вы все, гады, гнили! Не люблю вас». «Ландыши, ландыши», — подпевала она радиоточке на стене, и ветер ласкал ее свежее лицо. Об удобствах тогда никто особенно не думал — нечего было жрать. Его отец не вернулся из лагеря, но не как враг народа, а как поэт-переводчик, по рассеянности переведший кого-то не того. Г. Торо почитал, верил в высшую

справедливость, из лагеря писал сыну: «У древних майя за честь считалось быть отданным в жертву богам, все ясно, Захарчик?».

Однажды, это было во вторник, Захарчик по дороге за хлебом помог одной старушке. Так иногда молодые мужчины помогают престарелым обеспеченным женщинам. Домой он вернулся в приятном расположении духа. Навсвистывая, вывалил на стол банки со шпротами, креветками и прочей снедью. Фаина, молча наблюдавшая эту сцену, сразу же обо всем догадалась. «Подонок», — сдержанно сказала она, потом взяла со стола банку креветок, открыла форточку и вышвырнула банку на улицу. Захарчик обозвал жену безмозглой дурой, выбежал из дома в надежде найти банку, но ее кто-то уже успел утянуть. Возвратился он только под утро, причем хорошо подавши. Фаина из-за всего этого два дня с ним не разговаривала и не позволяла к себе прикасаться, даже ночью. На третий день Захарчик не выдержал, вспылал и, двигая кадыком, взял ее силой. После этого Фаина с ним помирилась, но к шпротам так и не притронулась. Через восемь с половиной месяцев она родила. Мальчика в честь деда назвали Славиком.

В детстве Славик буквально зачитывался Цицероном. «В кого он у нас такой?» — удивлялся Захарчик. «Не понимаешь или делаешься? — стучала себя пальцем по лбу Фаина. — В твоего репрессированного и посмертно реабилитированного папочку, в кого еще?». Особенно Славик любил цитировать письмо Цицерона Аттику, датированное 14 марта 45 года до н.э.:

«Мне нет нужды в большом доходе сейчас. Я могу довольствоваться совсем немногим. Иногда я подумываю о покупке садовых участков по ту сторону Тибра».

Что и говорить, не любили Славика во дворе ребята. Дали они ему прозвище «Славка-Цицерон — штопаный гондон». «Улюлю», — кричали они мальчику. В футбол на одни ворота никто его не звал мяч постучать. И на шести-

струнке он позже других научился играть песню «Мой чемоданчик». Игралась она на первых двух струнах, а стихи к этой песне были следующие:

Мой чемоданчик набитый планом,  
Он предназначен для наркомана.

А дальше уже без слов, только головой надо было поособенному мотать и напевать: «та́-та, та-та́-та, та-та́, та-та́-та», и еще разок: «та́-та, та-та́-та, та-та́, та-та́-та». А теперь, когда постепенно проясняется картина детства Славы, надо бы рассказать, как умерла его бабушка Фира и кому досталась ее квартира.

Однажды зимой едет Фира с базара домой. В троллейбусе ей становится плохо; она роняет кошелку, оттуда выкатывается спелая хурма, кто-то наступает на нее и говорит: «ой!». Тем временем Славик и Элка с косой идут из школы домой. Он несет ее портфель. «А помнишь, у Свифта, — говорит Элка мечтательно. — Летающий остров, там все музицировали, но никто ничего не умел построить?» — «Помню», — врет Славик, Свифта не читавший.

Вдруг он замечает на скамейке у сквера бабушку; вокруг нее толпа любопытных, подъезжает «скорая», бабушку кладут на носилки и увозят в больницу.

Дома все в волнении: когда бабушка умрет, кому достанется ее жилплощадь в переулке Героев Цусимы? Сосед Пал Палыч полагает, что комната по праву принадлежит ему. Он фронтовик, ему неприятель гранатой детородный орган деформировал, есть награды. Рентгенолог же Меерзон, с вечной «беломориной» в уголке на помаженных губ, тоже претендует. Кашляет, поправляет крашеную прядь и претендует.

«Столько живу, а умирать все равно что-то не тянет: привычка», — говорит Захарчику его мама слабым таким голосом и утирает ладошкой слезу. «Глупости, мама, — от-

вечает ей сын и протягивает мандарин. — Ты еще всех нас похоронишь, вспомнишь мои слова». — «Ой, только не надо мне морочить это самое», — сердится старушка.

Она таки оказалась права — никого она не похоронила, это ее все пришли хоронить: Славик, Фаина с сестрой, Захарчик, Пал Палыч при всех орденах, Меерзон с мамой — той вообще было за девяносто и покойную она помнила еще невестой. Элка же с косой, вся в черном, билась у гроба в истерике — она была очень чувствительной девушкой.

А через пару лет Славик с родными оказался в городе Риме, но никаких садов по ту сторону Тибра там он не обнаружил. «И тут просношали», — подумал он. Славик даже хотел написать об этом Элке, но адрес ее потерял в дороге. Ну, откуда ему было знать, что писать ему следовало на старый адрес бабушки? Ведь квартира бабушки досталась Элке с мужем: отец Элки был человек с большими связями и для дочери был готов пойти на все.

1991

## ЭЛЬДОРАДО

В детстве вопрос пола неожиданно уперся в лошадей. «Это мама или папа?» — спрашивал ты у взрослых. «Конечно, мама, — отвечали взрослые. — Видишь, у нее ленточки в гриве разноцветные, как у девочек?» — «А вон та?» — «Та — сестра». — «А брат где?» — «Брат на скачках», — говорили находчивые взрослые. «А едят они сено?» — «Ага». — «А по-большому чем делают?» — «Тоже сеном, но тщательно переработанным».

«Хорошо в краю родном — пахнет сеном и говном», — нараспев декламировала тетя Аннушка то ли Гойхман, то ли Мичман, а скорее всего, просто Цукерман, старенькая, худенькая тетя Беба Цукерторт, в ветхом пальтеце, с морщинистым личиком и щербатым, цвета корейской морковки маникюром, иногда эфемистично заменяя «говно» на «молоко», но далеко не всегда. Она умерла потом, пенсия у нее была крошечная, десятирублевая, ну, как на такую прожить? И еще она декламировала:

Жасмин хорошенький цветочек.  
Он пахнет очень хорошо.  
Понюхай, миленький дружок.  
А правда пахнет хорошо?

Если сложить первые буквы каждой строчки, получалось некрасивое слово. Когда ты произносил его, тетя Аня Цейгильмундер хваталась одной рукой за сердце, другой за перила «Детского мира» и беззвучно тряслась, легонько выпуская старческие газы в утренний октябрьский воздух.

В детстве ты приставал к взрослым как банный лист: сколько раз, спрашивал ты, можно повторять один и тот же вопрос, сколько, сколько, ну сколько? Два раза, пять или больше? Два — еще ничего, отвечали взрослые, но если тебя поняли сразу, — лучше ограничиться одним. Пять — и над тобой будут потешаться, как над клоуном в цирке. Больше пяти — и тебя будут просто считать нездоровым мальчиком. «Одну минуточку! — поднимал над головой указательный палец ты. — Что же это выходит? Выходит, баба Лена — клоун? Ведь баба Лена минимум раз десять просила папу привезти ей из командировки телевизор. А то и все пятнадцать. Выходит, баба Лена — нездоровая?».

И обязательно такой, как у соседки. А какой у соседки? Папа понятия не имел, какой. Тогда бабушка стала что-то показывать руками, загибать пальцы, быстро моргать глазами, вероятно, изображая частоту строк, зачем-то даже присела несколько раз на корточки, но так и не смогла объяснить, какой у соседки. Отправились на поиски соседки. Соседка жила в самом конце коридора, там, где ванная и запахи... Долго стучали, соседка не открывала. Наконец, дверь открыла соседка соседки — тугая на ухо старушка с лермонтовскими усиками и большой, обмотанной полотенцем головой. Оказалось, что соседка дежурит в больнице, будет к восьми. А в восемь пятнадцать у папы самолет, он в полвосьмого уже должен стоять у гастронома, на углу, и ловить такси, а еще лучше в семь пятнадцать, их так просто сейчас не поймашь.

Ты молил Бога — Бог почему-то представлялся тебе крокодилком из детской сказки, в плаще и шляпе, а из-под плаща у Бога торчал неопрятно-зеленого цвета хвост, — чтобы папа уехал в Москву, так и не выяснив, какой у соседки телевизор, и чтобы папа вернулся домой без телевизора. Дело в том, что существа, с недавних пор поселившиеся в бабушкиной комнате за шкафом, поставили тебе как-

то ночью довольно жесткие условия. «Если у бабы Лены будет телевизор, — заявили существа, — тебе, Мишенька, не поздоровится». И ты испугался.

Существа за шкафом вели себя вызывающе: громко и немзыкально пели, гремели сковородками, иногда внезапно включали полотер. Если бы баба Лена так чудовищно не храпела по ночам, она давно бы обратила внимание на эти бесчинства и, возможно, вызвала бы милицию. Но баба Лена, как назло, ночью громко храпела и присвистывала, а во время непродолжительных пауз бормотала что-то на непонятном языке и горестно вздыхала.

— Алло, Леночка Борисовна? — звонил папа бабушке из Москвы. — Ну что, Леночка Борисовна?

— Кто это? — кричала в трубку недогадливая баба Лена.

— Зять Фима беспокоит, — отвечал папа. — Из гостиницы «Минск». Ну что? Только бикицер, Леночка Борисовна!

— «Рубин»! — кричала баба Лена, отбивая нетерпеливую чечетку в темном коридоре коммуналки, где даже летом гуляли опасные для здоровья сквозняки, а ведь дело шло к зиме. — «401-й Рубин», по диагонали!

— Бузделано, — бодро отвечал папа и подмигивал какой-то тете, сидящей у него в номере на неприбранной кровати.

— У меня не зять, а чистой воды золото! — кричала баба Лена в трубку.

— Чтоб вы таки знали, — отвечал папа и, наклонившись над тетей, трогал ее шею.

— Громче говори, очень плохая слышимость!

Тебе хотелось плакать. Теперь от этих тварей тебе точно покоя не будет. Что же делать, что же делать, что-то же надо делать? Нельзя вот так сидеть сложа руки и ничего не делать. А что делать? Рассказать обо всем бабе Лене? Рассказывал уже. Она в ответ только смеялась и сверкала золотыми зубами. Попросить у мамы и папы

разрешения спать с ними? Просил, но мама сказала, что, во-первых, ты уже не ребенок, а во-вторых, папа ночью очень громко храпит, еще громче бабушки, и ты просто не сможешь заснуть из-за его храпа. Вот и маме папа часто мешает спать, и ей даже приходится на него прикривать. И действительно, ночью ты иногда слышал, как мама за стенкой громко и прерывисто кричит и даже трясет спинку кровати, — и всё для того, чтобы папа проснулся. Но все равно, рассуждал ты, лучше папин храп, чем эти твари поганые. Твари представлялись тебе так или иначе связанными с Богом в плаще и шляпе. То ли они были заодно с последним, то ли между ними была вражда на неизвестной тебе почве — все это было весьма и весьма туманно.

Через неделю папа вернулся из Москвы с телевизором для бабушки, костюмом «джерси» для мамы и чехословацкой игрушкой-роботом для тебя. У робота горели глаза, он жужжал, натыкался на ножки стульев и торшера, падал, но тут же поднимался и упрямо шел вперед.

— Чешский Ванька-встанька, — шутливо пояснял папа. — Или по-ихнему: Ян-повстан.

Все, кроме мамы, смеялись. Ты тоже смеялся, игрушка тебе нравилась, хотя соль шутки была непонятной.

— Скажи еще: Ванька-в-Таньке, — подключалась к разговору баба Лена, на секунду отрываясь от Каплера в белой водолазке.

— Ванька-в-Таньке — это ничего, — хмыкал папа.

— Мама, смотри лучше свою «Панораму». Взять и при ребенке ляпнуть такое.

— А что я сказала?

— Ванька-в-танке! — говорил ты и заводил своего нового чешского друга.

— Ну вот, теперь он во дворе будет повторять.

— Там без мягкого знака значение меняется, — говорил папа.

— Не может быть! — язвила мама. — Да ты у нас просто какой-то Даль без палочки.

— Так в таньке или в танке? — уточнял ты из-под стола.

— А знаешь ли ты, мой друг Михаил, — переводил разговор в познавательное русло папа, — что слово «робот» чешского происхождения? Да, представь себе, — чешского! Дело в том, что лет пятьдесят назад жил да был на свете один писатель, и звали его Карел Чапек...

Действительно, сколько раз можно повторять одно и то же действие? Все уже было однажды, или это только кажется, что все уже было однажды? Когда в космос полетел человек, ты подумал: «Ну и что? Что тут такого? Давно уже летают все». Самолеты летают, ты это сам видел, когда провожал родителей в отпуск. Подумаешь: космос! А небо между Одессой и Ленинградом — чем не космос? А вертолеты? Чуть ли не каждый день, особенно летом, ты видел в небе вертолет.

Или когда масло папе в «Победе» меняли. Ты остался в машине и вдруг услышал по радио, что убили Кеннеди. «Ну, сколько можно! — подумал ты. — Ведь его уже убивали один раз. Что у них, из Америки других новостей нет?». Потом папа сказал, что это другой Кеннеди, их там, в правящих кругах США, несколько человек под такой фамилией. И еще папа сказал, что проблем везде хватает, а Эльдorado на карте искать — только глаза себе портить. Про Эльдorado ты не понял, а новость про Кеннеди тебя расстроила...

Ночью, когда баба Лена уже всюю храпела, из-за шкафа до тебя стали доноситься голоса. Говорили трое. Мужчина, старик — или старуха, по голосу невозможно было определить, кто именно, — и девочка примерно твоего возраста. И все они были зашкафные монстры.

Монстры говорили: телевидение смерть несет людям. И разруху серого вещества несет, и микроинфаркты по

второму каналу. И детей в дебилов превращает, и в эпилептиков досрочно. А ведь это наша сфера влияния. И конкуренты нам до лампы.

— И помощники на фиг не нужны! Сами с усами! — кипятилась девочка.

— Стараемся, бляеть, заморозить время, стараемся лавочку закрыть на переучет, чтоб не повторялось все, как белка в колесе, а благодарности, бляеть, — ну, нуль без папочки, — раздраженно говорил мужчина-монстр.

— Там хорошо, где вас мало, — ни к селу ни к городу добавил не то старик, не то старуха, почему-то при этом картавя.

И тут девочка-монстр отчетливо произнесла:

— Твоя бабушка откинет копытца, когда ты, Мишенька, перейдешь в седьмой класс. Попомнишь нас еще. А сам смотри — пойдешь в своего папочку, земную жизнь ты фиг пройдешь до половины...

И ты громко закричал и разбудил бабу Лену и спрашивал у нее сквозь слезы про копыта, и что означает «бляеть», — и баба Лена успокаивала тебя, и кипятила молоко на кухне, и ты пил его большими глотками, и всхлипывал, и просил немедленно, сию же минуту отдать телевизор кандидату медицинских наук урологу д-ру Айзенбергу Я. Б. со второго этажа. Доктор Айзенберг не позволял вам во дворе играть в футбол и постоянно грозил проткнуть ваш резиновый мяч шилом, которое носил в специальном футляре. Так пусть лучше у него эти неприятности с зашкафными гадами будут. Он думает, если он уролог и защитил диссертацию про мочевой канал, так ему все можно!

Баба Лена умерла, когда ты перешел в девятый класс. В девятом классе ты уже знал, что такое откинуть копыта, и что «бляеть» — это обычное «блядь», но о предсказании девочки-монстра ты забыл начисто. Возможно,

потому что предсказание оказалось настолько запоздавшим, что и предсказанием его назвать нельзя было, а может быть, потому что занимали тебя в то время предметы совершенно иные. Например, приталенные рубашки противоположного пола и все, что под ними было сосредоточено, шестиструнная, с трудом настроенная гитара, и песня «Кент Бабилон» знаменитой ливерпульской четверки «Жуки».

Четверка эта появилась неожиданно, и как все на свете, — точнее, на одной шестой его части — с большим опозданием: сначала на фотографиях у ребят постарше, потом в звенящих гитарных ритмах, доносящихся из распахнутых в конце апреля окон, потом все ближе, ближе... И как ни странно, одновременно с противоположным полом, так что и не поймешь, дополняла ли четверка этот самый пол, озвучивала его, или каким-то образом пол стал одним из проявлений четверки, но то, что в область запретного одновременно вошли и девочки, и четверка — это несомненно. «Битлз» поначалу были не столько музыкальным явлением, сколько тем, за что склоняют на педсовете. Битл — это то, что нельзя, то, что плохо, за это могут выгнать из школы или оставить на второй год. «Что ты ходишь, как битл нечесаный, хочешь, чтоб вши в голове завелись? А ну, марш в парикмахерскую!» — «Ты что, мусорщиком всю жизнь хочешь вкалывать, как битл какой-то? Тогда учись как человек».

— О чем они поют? — спросил ты однажды у папы. Папа был немного полиглот, ну совсем чуть-чуть. Прослушав с минуту запись на пластинке фирмы «Мелодия» («Девушка», муз. и сл. народные, квартет «Битлс»), он сделал вольный перевод с аннотациями: «Эти великобританские горлопаны поют о девочках-девочках, одетых в английские слова и выражения». И чуть подумав, добавил: «А вот тут у них — деепричастные обороты». Но не показал где.

В Ливерпуле, в ресторане,  
В белых пиджаках —  
Там сидят четыре битла  
С гитарами в руках.

Как предсказуемо, однако, западная поп-культура пре-  
ломилась и раскрошилась в ресторанных красотях юж-  
ного города! В белых пиджаках, в ресторанах, с гитарами и,  
скорее всего, с недоеденными котлетами по-киевски и кар-  
тофелем-фри, плавающим в остывающем жире. («Джон,  
еще оливье?» — «Йе-йе! А впрочем, ноу, спасибо, Ринго,  
я сыт». — «Ну, тогда по кофе-гляссе, и — гет бэк?»).

Кент Бабилон! Он!  
В девушку одну влюблен!

Когда ты стал встречаться с Дианкой из параллельно-  
го класса, в 72-м или 73-м? Точнее, когда она стала встре-  
чаться с тобой?

Ты боялся к ней подойти: ее замшевая мини-юбка соз-  
давала поле, в котором ты ощущал известный дискомфорт,  
доходивший до легкого паралича с частичной потерей  
речи, а взамен приобретал нежелательную потливость.  
(Что касается колен над гольфами девушки, то это статья  
особая, волнующе-выпуклая, в ссадинах и царапинах, и ста-  
тья эта так же не располагала к непринужденной беседе.  
Наоборот: скорее к вздохам, как в той самой «Девушке»  
с пластинки фирмы «Мелодия»). Поэтому, когда она сама  
подшла к тебе на перемене, и ни с того ни с сего:

— «Солярис» смотрел уже? — спросила, ты пролепетал:

— Да, то есть «Солярис» — нет, кино не видел, но ино-  
гда я думаю...

— Иногда? Умница. А фильм, между прочим, — туши  
свет, кидай гранату.

— Я на наши почти совсем не хожу, то есть. Ну, то есть  
исключения бывают, конечно, не без этого, но стараюсь —

мало. Мало все же заслуживающих есть, то есть... (Любая глупость, любая неправда, только чтобы показаться интересным.) «Блондин в черном ботинке» — вот это вещь.

— Издеваешься?

Ты украдкой наблюдал за ее губами, следил за движением языка, слова значили совсем немного.

— Ты и «Рублева» не смотрел?

— Честно говоря, нет. (Неправда. Два раза смотрел, один раз казнил контрольную по обществоведению даже. Зачем столько лгать? Чтобы понравиться, для этого, да? Да.)

— Ну ты даешь! Обещай, что посмотришь «Солярис». Хочешь, вместе сходим?

— Ладно. (ХОЧУ!)

— Я там, правда, в сцену с ухом не очень врубилась. Там ухо крупным планом и долго. Это я не очень. Ухо, представляешь?

— Надо же.

Ты был всецело поглощен ее зубами, почему-то очень хотелось их потрогать.

«Солярис» понравился с оговорками. Про ухо, действительно, непонятно было. Изыски? Тайный смысл? Но какой? Имеющий уши да услышит? Сомнительно. Хотя ей ты сказал, что фильм гениальный. Гениальный, за исключением уха крупным планом. Ухо непонятно было.

Перед экзаменами вы с ней что-то зубрили про шар с конусом, потом делали «шпоры», потом она пришивала носовой платок к подкладке твоего вельветового двубортного пиджака — для конспекта конспиративного, а ты все доставал ее, что ты, мол, художник, каких мало, и она это когда-нибудь поймет и оценит, но жить на тот момент ты будешь далеко, и тогда она сказала: хочешь, я тебе попозирую? Давай, сказал ты.

На улице зажигали фонари. Где-то рядом неприятно смеялись дети, чей-то хриплый голос настаивал: «А что,

Лиду совсем нельзя?» — «Я же вам, кажется, уже сказала, молодой человек: Лидя моет голову».

Она стала позировать у окна на стуле. Речь шла только о портрете, но она стянула с себя синюю футболку. Если лица тебе кое-как удавались еще, то к ее торсу ты был подготовлен слабо. К тому же очень отвлекали торчащие в разные стороны острые груди. Что-то ты там изобразил такое фломастером на бумаге, подписал, поставил дату. Она мельком взглянула на портрет, кивнула, улыбнулась. Кстати, когда она позировала, она тоже улыбалась, причем на щеках ее появлялись ямочки.

Поздно вечером ты провожал ее домой. Когда вы остановились перед ее подъездом — она жила на бульваре — ты вспомнил, что портрет она забыла у тебя.

— Ничего, — сказала она. — Зайду в другой раз.

Вы поцеловались, и тут она шепнула, что ради тебя готова была отказаться от туфель на каблуке — она была чуть выше тебя ростом.

Ты отшутился:

— Боже, какие жертвы!

— Дурак, — тихо сказала она.

Когда вы разделись, она все спрашивала, каково тебе будет переспать с женщиной, которую ты знал ребенком, а ты отвечал, что не знал ты ее ребенком, вы всего пару лет знакомы, ты перевелся к ним из другой школы, а она сказала: ну да, пару лет! а ты сказал: конечно, день рождения у Толика помнишь, два года назад, там мы и познакомились, а она сказала: какого Толика? а ты сказал: пить меньше надо, ты тогда еще с Сашкой Rocky Рассооn под гитару пела, а она сказала: ну и что, я с ним Rocky Рассооn на каждом сходняке пою, а ты сказал: не знал я тебя ребенком, а она сказала: врешь, знал.

1996

## МУЗЫКОВЕДЫ И ШКОЛЬНИКИ

*Саше Сумеркину*

На летний слет музыковедов в город слетались музыковеды. За ними бегали докучливые школьники, приставали с двусмысленностями, требовали невозможного.

— Масло для волос, — отмахивались музыковеды, — мы применяем исключительно в гигиенических целях. Вопросы?

— Par example? — не отставали школьники, ловили сонных стрекоз, сторонились рано повзрослевших соучениц.

Город набирал обороты. На курсах иностранных языков царило оживление. Бастовали пекарни и пельменные, в воздухе стоял крепкий запах полуфабрикатов. Инженеры ожидали реформ, после которых сразу должно было стать лучше.

— Например, вы еще маленькие, например. О Брамсе слышали?

— Абрамсе Абрамсовиче Абрамсоне? — школьники путались под ногами, зазывали музыковедов на рыбалку, хотя ловить давно было нечего.

Музыковеды сидели на острых камнях по пояс в грязи, как болотные факиры. Они прибыли к нам из разных городов: Караганды, Ленинабада, Кенигсберга. Им прописали грязи, и после цикла лекций в санатории «Прибой» музыковеды приступили к курсу лечения.

— Столоверчения, — школьники лезли в грязь, чтобы поддержать беседу. — Зачем вам столько масла, господа хорошенькие? Для гигиены с тетей Леной, что не вернулась с вражеского плена? Хлопцы, не смешите наши пипы!

Город кишел новостями: Володя Мулат полюбил Шурика Вранглера и сделал ему предложение. Шурик заперся на три дня в ванной, на четвертый выскочил оттуда взъерошенный и мокрый — и отказал Мулату, бросив презрительное: жопник. Олега отчислили из медина ввиду частых обмороков в анатомичке. Петин папа в Петергофе поперхнулся пепперони, перепутав Полин патик с тульей Питера О'Тула. Пока разобрались, наступил август. Мечников звал в город Сеченова, тот валял ваньку.

Подвалил сентябрь. Сентябрь у нас красивый, город пустеет.

Пришло время разъезжаться и музыковедам. Из ноздрей одного из них к концу лечения пошел легкий дымок. Его коллеги забеспокоились. Разве так можно, разве это нормально? Так нельзя. Это ненормально.

Мне невозможно быть собой,  
Мне хочется сойти с ума,  
Когда с беременной женой  
Идет безрукий в синема...

(вспоминали музыковеды стихи Ходасевича на перроне).

Из уст в уста передавали это и цитировали, и грезили о новом мире, который опять задерживался.

И вот наступил октябрь.

Школьники, повзрослев, шуршали листьями на Соборной площади, обсуждали соучениц. Школьники стали забывать своих музыковедов, они думали почти исключительно об астрономии и других точных науках. О горошинах, имеющих между собой много общего, но также много различного, о Менделе, Менделееве и Мендельсоне, и о том, что масло для волос тоже разное бывает. Так, по крайней мере, им намекали музыковеды, но музыковеды давно разъехались по своим городам, и школьники забыли их окончательно.

2000

## «ПОДУЙТЕ МНЕ В РОТ!»

Потому что давным-давно, совершенно в другой стране, жили три друга-товарища: Илюша, Андрей и Родя. Андрей Филиппов, по кличке Фазамахер, и Илюша Нежинский были соседями по дому на углу Франца Меринга и Льва Толстого. Их родители то дружили, то не дружили, то снова дружили — не поймешь их. А с Родей Голиковым Илюша свел знакомство той зимой, когда в их коммуналку наведальась неизвестная особа средних лет в темно-зеленом пальто, отороченном беличьим воротником, и с самопальной сумкой через плечо. На сумке был изображен зубастый волосатик, в котором Илюша не сразу признал Джорджа Харрисона с обложки Let It Be: пластинку эту он видел у своего кузена-битломана Саньки Лернера. У незнакомки был недобрый птичий профиль и темные припухлости под глазами. Морфинистка. Это выяснилось чуть позже.

Лида, так звали женщину, сулила Илюшиной бабушке Наде золотые горы, обещала бесплатную паюсную икру с фабрики, где в отделе контроля работал ее тяжелобольной отец, и отцу, как воздух, необходимы были лекарства. Подробно рассказав об отце и бегло о муже, *чтоб его могила взяла в срочном порядке там, где он есть, ничтожество и жалкий подонок, улизнувший к инженеру львовского театра Советской Армии, та еще оторви и выбрось*, незваная гостья всхлипнула, стянула с полных ног полусапожки, резво вскарабкалась на стул, и по-обезьяньи цепляясь за полки стенного шкафа, принялась нервически рыться в коробках, переворачивать банки, сопеть.

Морфинистка, догадалась бабушка Надя, когда гостья была под самым потолком, а из-под юбки ее показался светло-сиреневый край комбинации. К соседям. Живо.

Но морфинистка уже успела побывать у соседей. Как выяснилось несколько позже, она составила список врачей, живущих в Илюшином доме, и первым делом посетила квартиру отоларинголога Филиппова. Так Илюше сообщила мать отоларинголога, подслеповатая и простодушная мадам Филиппова, ни о чем таком не догадывающаяся. А бабушка Надя быстро смекнула, что к чему. Но в милицию решила не звонить. А вдруг морфинистка вооружена? И опасна? А вдруг отец ее действительно может достать икру? Тем более, что никаких ампул у них и в помине не было... Наконец, морфинистка оставила поиски, грязно выругалась и, шаркая полусапожками, удалилась, прихватив на прощание зеленый томик «Тургенев в русской критике». «Воровка, — шептала ей вслед побледневшая бабушка Надя. — Морфинистка и воровка».

Илюша вспоминал о визите морфинистки в поезде, мчащем его в Москву. Это было его первое большое путешествие. Точнее, второе. Первое — и тоже в Москву — было не в счет: он его не запомнил. Ему было восемь месяцев от роду, когда неистощимый на деловые затеи Илюшин отец решил испытать удачу на более широком поприще и в поисках этого поприща перебрался с семьей в столицу. Однако вертихвостка-удача так просто не давалась в руки Нежинскому-старшему; что же касается самой идеи массового производства надувных шариков с изображением голубки мира Пикассо для Международного фестиваля молодежи и студентов, то она так и осталась невоплощенной, поскольку сразу же напоролась на ряд препятствий легального характера: будущие партнеры Нежинского-старшего непредвиденно лишились свободы сроком от 3-х до 5-ти лет. А в какой-то момент и финансового: у Илю-

шиного отца кончились средства, и ему ничего не оставалось как вернуться в родные пенаты, где он снова устроился на несоразмерную его амбициям должность инженера-сантехника.

И вот, четырнадцать лет спустя Илюша сидел, свесив ноги, на верхней полке в купе вагона, его отец полулежал на полке напротив, и стараясь по мере сил не шуметь (на нижней полке посапывала Илюшина мама Лена), отец и сын Нежинские сражались в морской бой. У Илюши оставалось два однопалубных корабля, которые Нежинский-старший никак не мог сбить. И вдруг сбил. Двумя меткими попаданиями. Бесхитростный Илюша все однопалубные по углам квадрата расставил.

Москва поразила снегом, снегоочистителями, высотками на Новом Арбате и абрикосовым соком — его подавали в маленьких бутылочках в ресторане при гостинице «Минск». Три раза были в театре: на «Синей птице» во МХАТе, на «Баранкине» в Оперетте и на «Карлсоне» в театре Сатиры. Сфотографировались у мавзолея Ленина, сходили в Третьяковку, заглянули в кафе-мороженое «Космос» на улице Горького. «Я у моих родителей даже близко не видел то, что видишь у нас ты, — сообщил сыну Нежинский-старший к концу путешествия. — Ты хоть цени это». — «А я ценю это», — отвечал Илюша.

Родители Роди Голикова жили скромнее Нежинских. И хотя дядя Юра Голиков к зарплате инженера-электрика получал пособие по инвалидности, а его жена, тетя Вера, преподавала французский в техникуме и подрабатывала частными уроками, деньги странным образом таяли от полочки к полочке. Средств на увеселительные поездки у Голиковых не было, и большую часть каникул Родя проводил во дворе, где сам с собой играл в войну. Срывал кольцо с несуществующей гранаты, швырял ее в незримого врага, отвечал за звуковые эффекты, попав в цель, заливался

торжествующим смехом. Однажды дядя Юра сказал ему: «Ты уже не ребенок, Родион, дурака перед соседями строить. Потерпи немного, в армии настреляешься». А той зимой, когда Илюша посещал столичные театры и чуть не слег с ангиной, объевшись мороженым «Метеор» (2 шарика сливочного, 1 клубничного, глазурь, арахис), у Роди резко упало зрение, и офтальмолог доктор Могилевская закапала ему глаза атропином. И Родя, заключив временное перемирие с неприятелем во дворе, растерянно бродил по лишившимся привычных контуров улицам январского города, оскальзываясь и натываясь на урны. И чуть не угодил под буксующую на светофоре бежевую «Победу», за рулем которой сидел Нежинский-старший, а на сиденье рядом с ним — нахохлившийся Илюша.

— Смотри куда прешь, пацан! Эй!

— Что «эй»? Мне глаза закапали! Эй!

— Дома тогда сиди с глазами, а под транспорт не лезь!

— А смотреть куда едете? Или вам тоже что-то закапали?

— А ты не хами старшим, мальчик!

— А я вижу, какой вы? Говорю же: глаза закапали.

— Ладно. Садись, Паниковский, подбросим.

— Какой еще Паниковский?

— Которого бьют, — в один голос ответили Нежинский-старший и младший цитатой из книги, которую не цитировал только ленивый.

— Ты что, и «Теленка» не читал? Тебе в каком году глаза закапали?

— Читал, — соврал Родя.

— Читал, а кто Паниковский не знаешь? — не унимался Нежинский-старший. И обратился к сыну: — Расскажи лучше мальчику, как тебя чуть в «Теленке» не сняли.

— Потом, — отвечал Илюша, вполоборота рассматривая нового пассажира.

— Когда потом?

— Как-нибудь.

— От впертый! Тогда про Москву расскажи. Мы из Москвы только. Так этот герой уезжать не хотел. Стоял у окна и ревел на весь поезд.

— Кто ревел, папа?

— Забыл уже?

— Да ревел, не ревел. Я, например, вообще ни фи́га не вижу, — сказал Родя, щурясь. — Даже лиц ваших не вижу. Скорее всего, не узнаю вас, если когда-нибудь встречу. Разве по голосу. Мне на Карла Маркса.

Два года назад, по дороге в школу Илюша неожиданно набрел на съёмочную группу. Снимали массовую сцену из «Золотого тельца». Одно из действующих лиц, Паниковский, изображая по сюжету слепого, якобы случайно наткнулся на другого героя, подпольного миллионера Корейко, и просил его помочь перейти дорогу, а сам незаметно лез к Корейко в карман. Пять раз ассистент режиссера рычал в мегафон: «Начали!», делая ударение на последнем слоге, и пять раз перед носом у горе-карманника резко тормозил автобус. Паниковский вопил: «Идиот! Автобуса не видит!», Корейко, пользуясь воцарившейся суматохой, исчез среди автомобилей и гужевого транспорта, а вокруг лже-слепого в соломенной шляпе росла толпа статистов, одетых в костюмы совслужащих начала 30-х годов. Так вот как выглядят толстовки и панамы, и пикейные жилеты! И вот какие тогда были женские стрижки... Как зачарованный, Илюша разглядывал оживший перед ним мир зачитанного до дыр романа. И опоздал на первый урок.

— Нет, ну ты понял? — говорил он Роде по дороге на Приморский бульвар через несколько месяцев после их знакомства среди сугробов. — Читаешь, ловишь кайф, а как это выглядит — не знаешь. Вот Ильф и Петров пишут: «трамвай», а какой он, этот трамвай? Или молочницы... Как

они одевались в те годы? И фильдеперсовые чулки — это что? Флотский борщ? Макароны по-флотски, допустим, понятно, мама готовит, со шкварками. Но борщ?.. А если на юге Америки действие разворачивается? И не тридцать лет назад, а давно, в прошлом веке? А в древнем Риме если? Как это представить всё? Читать с иллюстрированными справочниками?

— Ты о чем? — не врубался Родя. — Если о том, чтомотришь в книгу, а вместо борща видишь фигу, то читай поваренные книги — там про борщ подробно, и с цветными картинками.

— Я о том, что всё течет, всё из меня, — произнес Илюша любимую фразу Нежинского-старшего. — Мы «Отцы и дети», допустим, проходим сейчас. Многое ясно: Базаров, любовь-морковь, Одинцова... А насчет одежды и чем именно Базаров резал лягушек — тут непонятки... Томик «Тургенев в русской критике» у нас в декабре одна дамочка стырила. Очень сейчас пригодился бы.

И Илюша поведал Роде историю о морфинистке, и история эта заинтриговала Родю в значительно большей степени, нежели рассуждения о неадекватности слова в сравнении с образом на примерах из популярной литературы.

— А с чего морфинистка решила, что у твоей мутерши морфий? Ты ж говоришь, твоя мутерша — детский врач?

Прятели расположились на скамейке неподалеку от колоннады «Дворца пионеров», попыхивали «Беломором» и сплевывали себе под ноги. Был март 1970 года. Было ветрено. Илюша был без шапки, и совершенно напрасно.

— Она не знала, какой мама врач, Родя. Достала список, а какой мама врач — не знала.

Любопытство Родя было не праздным. Вот уже более года он успешно сбывал товарищам т. н. «колеса» — скупал

в аптеках таблетки от гипертонии, расфасовывал по разноцветным коробочкам из-под жвачки и перепродавал в розницу, выдавая за галлюциногенные наркотики. Продвинутые девятиклассники балдели от второго «Юрайя Хипа» и платифиллина с папаверином. Однажды и Илюша попробовал. Результат оказался ниже среднего: под самую длинную композицию на диске (Salisbury) он задремал на тахте в гостиной у Роди. И со словами: «Молодой человек, как вы можете дрыхнуть под этот дурдом и гоморру?» — его растолкал дядя Юра Голиков.

У Илюшиного соседа по площадке, долговязого первокурсника Андрея Филиппова по кличке Фазамахер было другое хобби. Он воровал книги из районных библиотек. Однажды, раззадорившись, вынес под одолженным у отца плащом полное собрание сочинений Лиона Фейхтвангера в двенадцати коричневых томах плюс один дополнительный том, вывел при помощи крутого яйца библиотечные штампы, сбыл оптом на Староконном рынке. Считал себя Робинном Гудом с точностью до наоборот. «Не, ну прикинь, какой трудяга возьмет читать Фейхтвангера в библиотеке «Клуба железнодорожника»? — объяснял он Илюше, застукавшему его на кухне с яйцом в руке. — А благодаря мне книги попадут к ценителю. Да, наварю, но с пользой для общества. Для просвещенной его прослойки». Андрей, начинающий поэт и книгочей, взял весной напрокат пишущую машинку, пробовал сочинить поэму про индейцев майя, покрывало майя и «Мое открытие Америки» Маяковского, но с поэмой заминка вышла. Дело было накануне столетия вождя мирового пролетариата В.И. Ленина, и машинку пришлось вернуть в бюро проката до начала массовых гуляний. Городские власти опасались антисоветских выступлений и принимали все возможные меры предосторожности: запирали на замок пишущие машинки, копирки и почему-то даже арифмометры. И поэма Фазамахера была заверше-

на уже в Америке. Вместо нее к юбилею вождя он сочинил стишок на музыку битлзонта Come Together: «Мы к коммунизму идем / Путь наш труден и все ж / Мы построим его / Коммунизм победит/ Но / мы / трудиться должны / Иначе не будет видно нам конца пути / Припев: Знамя Ленина — всегда — впереди!». Правда, дальше первого куплета дело не пошло.

Той же обильной событиями весной Фазамахера пропесочили в стенгазете. Не за стишок и не за хобби — о последнем, кроме Илюши, не знал никто. За разврат. Как-то в пятницу однокурсники привели к Андрею на «пустую хату» языкастую студентку-заочницу, которую все звали Багира, и еще одну, без имени, раскрашенную, из музучилища, в клешах с аппликациями, той вообще пятнадцать то ли недавно стукнуло, то ли вот-вот должно было, и пользуясь временным отсутствием родителей и бабушки, устроили импровизированную сцену деградации и дебоша по мотивам второй серии кинофильма «Сладкая жизнь» режиссера Феллини — любимого, к слову, фильма отоларинголога Филиппова. Фильм Филиппов-старший видел на закрытом просмотре в московском Доме кино, куда его пригласил приятель, многообещающий молодой режиссер, которому государство оказало высокое доверие: к столетию Ленина поручило снять фильм «Кремлевские куранты» — двухсерийное кинополотно, повествующее о том, как старому еврею-часовщику государство тоже, получается, оказало высокое доверие: разрешило починить главные часы страны (так жизнь порой нелегко отделить от искусства, да и нужно ли). Но мы, кажется, увлеклись. Увлекся в ту пятницу и Фазамахер: малолетка залетела, дружки кто куда, заочница Багира — жалобу в райком комсомола. Кто виноват? Что делать? И зачем человеку эти сложности перед Америкой?

Америка!.. Сейчас всё расскажу.

Америка замаячила на горизонте в середине 60-х. На экранах стали мелькать маленькие суетливые человечки большой безалаберной страны: одинокие клерки, сдающие хамоватым боссам квартиру для рандеву с легкомысленными секретаршами («Квартира»); недалекие трудяги, одержимые жаждой наживы в «Этом безумном, безумном, безумном, безумном мире»; «Загнанные лошади» танцевальных марафонов Великой депрессии («...их пристреливают, не правда ли?»). И даже чехословацкий, насквозь пародийный «Лимонадный Джо» (производства киностудии «Баррандов-фильм») тоже почему-то казался всамделишным американским. Кинопоток этот был призван подчеркнуть и высветить преимущества нашего образа жизни перед не нашим, но действовал ровно наоборот: привлекал антуражем и будоражил красками. Никто не вникал в противоречия зрелого капитализма — не оставались без внимания холодильник и стереоустановка. Да, страна маленьких клерков, но зато какие у них большие тостеры и белоснежные зубы! Все правильно, гибнут за металл, но если за этот самый металл можно приобрести двухэтажный особняк с участком...

Потом пошли книги. В шестом классе кузен-битломан Санька Лернер подарил Илюше черно-белый фотопортрет какого-то бородатого шкипера, с надписью: «Надеюсь, когда-нибудь ты полюбишь этого замечательного старика. Такие старики рождаются раз в сто лет». Илюша удивился: как это — старики и рождаются? И почему раз в сто лет, откуда такая статистика? Но знакомство с выдающимся стариком решил не откладывать в долгий ящик и пару рассказов Хемингуэя одолел, правда, без особого энтузиазма. Больше нравились меланхоличные Сэлинджер и Сароян.

А еще больше — с голливудской челюстью и горящими глазами красавец Джек Лондон да еще подарок Фазамахера — почти новенькая, в библиотечных штампах медучилища №2 «Песнь о Гайавате» Лонгфелло в переводе И. А. Бунина.

Тогда же из заокеанского далека прибыли американские родственники: сухопарая и подтянутая, особенно в районе шеи и щек, тетя Эстер и тугой на ухо, краснолицый, с копной желтовато-седых волос дядя Джозеф. Родственники оказались шумными, по-«крокодилски» клетчатými и напичканными поучительными историями о том, кому в США жить хорошо (получалось, всем, кто не поленился открыть свою химчистку или булочную), какие толстые в Америке газеты (воскресные не одолеть за неделю) и какие длинные автомобили (очень длинные и кондиционированные). Тетя Эстер и дядя Джозеф прихватили в страну Советов ряд предметов первой необходимости: розового цвета ароматизированную туалетную бумагу, миниатюрные батарейки для слухового аппарата дяди Джозефа, набор разнокалиберных пуговиц и иголок с нитками, а также сухарики с маком и тмином. Илюшиного папу эта смесь самодостаточности и самодовольства выводила из себя. Забывая о правилах гостеприимства, Нежинский-старший называл гостей фаршированными индейками, шел на открытые конфронтации за обеденным столом, вдохновенно рассуждал о временных трудностях во имя идеи, — идеи, а не утробы! — но за день до отъезда, на рассвете, не афишируя, навестил американцев в гостинице «Лондонская» на Приморском бульваре, чтобы прикупить немного одежды. Голубое с блестками платье и такого же цвета туфли на невысоком каблуке для Илюшиной мамы. Несколько сумок, и тоже с блестками. И для себя — два пиджака дяди Джозефа. Оба в клетку. От денег тетя Эстер отказывалась, но Илюшин папа настаивал: «Мы не нуждаемся. Вы же сами

всё видели. Просто выбор в магазинах пока не ахти»... Разговор конспирации ради — вдруг номер прослушивается? — проходил на идиш. Сговорились на бартере: оренбургском платке для тети Эстер и кубинских сигарах для дяди Джозефа. Подарки папа привез в аэропорт. «Коммунизм У Берегов Америки (К-У-Б-А), так у нас это иногда расшифровывают. А у вас как?» — кричал Нежинский-старший у трапа, помахивая коробкой сигар над головой. Но шутка осталась недооцененной: во-первых, частица «у» выпадала при переводе, а кроме того, батарейки в слуховом аппарате дяди Джозефа за время визита все же подсесть успели.

Истории американцев, подкрепленные переделанными маминной портнихой вещественными доказательствами, запомнились. Историям стали верить, их стали повторять. И даже недовольные и нечесаные студенческие массы, еженедельно пробавляющиеся наркотиками в телепередаче «В объективе Америка», теперь казались какими-то живописно патлатыми и интригующе недовольными. «С жиру бесятся, их бы к нам бы, на БАМ бы», — качал головой у телевизора Илюшин дедушка Рувим Маркович.

И вдруг само собой сделалось очевидным, что жить в СССР больше нельзя. То есть, казалось бы, еще недавно можно было, а сейчас, получается, уже никак нельзя.

Первыми — неожиданно — стали собираться не Нежинские, а их соседи — отоларинголог Филиппов и его жена Муся — родители Фазамахера. И хотя Нежинские говорили дяде Грише Филиппову, и говорили не раз, что проблему строительства коммунизма в одной, отдельно взятой семье ему удалось решить успешнее, чем кому-либо другому (имелись в виду: 1. ванная, отделанная черной плиткой и оснащенная чуть ли не единственным в городе биде, о котором следовало бы написать подробнее, с приличествующей предмету анальной дотошностью; 2. капитально пере-

строенная дача на 12-й станции; и 3. салатového цвета «Волга» в экспортном исполнении и с зеркальным задним стеклом, на которой Филипповы успели исколесить всю Прибалтику и часть Кавказа), тем не менее, дядя Гриша, а точнее, тетя Муся, на вопрос, куда вы едете, малахольные? — указывала на потолок, закатывала глаза и громко шептала: «Как с этим бороться, если оно на порядок сильнее нас?» — «Что, что на порядок сильнее нас? Муся, ты можешь не говорить загадками?» — допытывались Нежинские. «Что ж, для недогадливых скажу в таком случае отгадками, — качала некрупной головой Муся Филиппова. — Круговорот евреев в природе сильнее нас. Силы, направляющие исходом. Передвижение народов туда-назад. Разжевать? А сами? Читайте Толстого. Конец «Войны и мира», где уже не танцуют и не стреляют, а умняк сплошняком... Тут мы свое пожилы. А там мы свое — покамест нет. И там у нас, кстати, тоже родственники. Правда, не такие близкие. Но очень состоятельные».

\* \* \*

Прошло два года. Свалило полгорода.

— Все правильно, — крякнул Нежинский-старший, опрокидывая рюмку коньяку по случаю выходных. — Едем ради детей. Кто ж с этим будет спорить?

— Но, — и превентивно скривившись, он вцепился неровными передними зубами в тонкий ломтик лимона. — Возникает нехороший вопрос.

Пауза.

— А стоят они того?

Снова пауза.

Нежинский-старший любил театральные паузы, марочные коньяки, неторопливые застолья в кругу семьи и друзей.

«Не знаю, — думал Илюша, вставая из-за стола — они с другом Родькой собирались на выставку собак в парк Шевченко смотаться. — Про всех детей не скажу. Но если вопрос возникает, то я, наверно, Америки недостоин. Ведь и в коммунизм не всех собираются брать. Но лишь тех, кто любит труд и учится на одни пятерки. А я вот тройку по английскому схлопотал».

Но «Дорогие джентльмены, подуйте мне в рот» все-таки перевел.

Дело в том, что Илюшин дедушка Рувим Маркович страдал астмой, и, если кислородной подушки во время приступов под рукой не оказывалось, дедушка просил (жестами, звуками, специально заготовленными записками) подуть ему в рот. Собираясь с ответным визитом к сестре Эстер и ее мужу Джозефу («лучше один раз все эти прелести капмира своими глазами увидеть, чем ехать наобум, как малахольные Филипповы»), дедушка переживал: вдруг с ним в дороге случится приступ, а понять его не смогут? И как в Америке, без знания языка, растолковать посторонним, куда ему дуть и с какой целью? И он попросил Илюшу перевести его просьбу на английский. Тот, недолго думая, перевел. Сияющий дедушка сложил вчетверо тетрадный лист, на котором Илюша вывел крупными квадратными буквами: «Blowing gentlemen please me to mouth rapid as can be», — и спросил: «Ну, а что тебе привезти из Америки, полиглот ты мой драгоценный?».

— Сам возвращайся благополучно, — отвечал Илюша. — Это будет всем нам наилучшим подарком. Ну, а если представится такая возможность: жвачку, туфли на платформе, белые джинсы и жвачку. И майки с различными надписями.

— Про джинсы и туфли я понял. Но ты дважды жвачку сказал. Зачем она тебе в таком количестве?

— Она полезна в плане витаминов и содержит много глюкозы, — не растерялся Илюша. — Ну, и Родьке подарить. Он коллекционирует разные коробочки. Если не сложно, конечно.

— Для тебя не сложно. Жвачка много места не займет. Это ж не электрическая гитара в конце концов.

Илюшин кузен-битломан Санька Лернер попросил дедушку привезти из Америки пластинки, электрогитару, а также ноты наиболее популярных битлзонгов. Он играл на ритм-гитаре в ВИА «Робинзон Кукуруза» в сельскохозяйственном, и на четыре отечественные песни худруководство разрешало им исполнять одну зарубежную. Битломаном Санька стал не вдруг. В пятом классе, приставив микрофон «Панасоника» к моющимся обоям в спальне родителей, он записывал битлзонги, которые крутил за стенкой сосед-пэтэушник по кличке Буцефал. Буцефал как раз в тот момент мыл посуду. Или это была мать Буцефала — преподавательница труда, в несколько приемов сливающая в туалете воду. Хорошо еще, что за стенкой звучал битлзонг Yellow Submarine, где в одном из куплетов великолепная четверка использовала спецэффект «шум морских волн». Что делало запись годной к прослушиванию, несмотря на бытовой амбианс (водопровод, сантехника, газы). Потом последовали попытки записать с телевизора битлзонг Can't Buy Me Love, служивший заставкой к передаче «В объективе Америка», той самой, где красиво разлагалось недовольное студенчество. Далее — черный рынок, воскресные сходки «дискарей» в парке Шевченко, ожидание дедушки с «пластами» из-за бугра, а перед самым отъездом — полгода лабухом в кабаке — вот вам путь дискаря-битломана Саши Лернера до отбытия в Соединенные Штаты Америки на постоянное место жительства.

— Куда ж вы торопитесь, как на пожар, честное слово, — спросил дядя Юра Голиков напрямую. Нежинским

было приятно, что у необщительного Илюши вдруг появился новый друг, и они пригласили к себе на воскресный завтрак чету Голиковых. Черную икорку открыли, сайру, крабы с непонятной надписью «Chatka», а фаршированные перцы и икру из баклажанов (или синеньких) Лена Нежинская сама приготовила. — Вернется из дальних странствий Рувим Маркович, вот тогда и примете единственно правильное решение. А сейчас куда спешить-то? Не горит же.

— Раньше сядешь, раньше выйдешь, — отвечала Лена Нежинская, оптимизмом не отличавшаяся. — Попробуйте возьмите мою икорку из синеньких.

— Армия, — сказал Нежинский-старший. — Будем тянуть резину — как пить дать загремит отпрыск. Под фанфары.

— А институт? — спросила тетя Вера Голикова.

— Там поступит уже.

— Все продумано у вас, — заметил дядя Юра Голиков. — Как в сберкассе.

— При чем тут сберкасса? — поморщился Нежинский-старший.

— Вот так вот взять и бросить всё, — сказала тетя Вера. — Не страшно?

— И да, и нет, и может быть, — отвечал Нежинский-старший. — А голову ставить? Не страшно?

— Кто ставит, кто не так чтобы очень, — молвил рассудительный дядя Юра.

— Кто не ставит, тот шампанское не пьет, — парировал Нежинский-старший. — Софья Власьевна, опять же, в печенках плотно засела. Попробуйте-ка паштетика.

— Кто такая? — спросила тетя Вера. — Селедка, Леночка, — говорить не может.

— Кто ж берет ее в голову? — возразил дядя Юра. — Кого она, по большому счету, колышет? Софья Власьевна — это советская власть, Верочка.

— А! — подмигнула тетя Вера с преувеличенным пониманием. — Хитро зашифровано.

— Римские цифры между «Слава» и «Съезду КПСС» на крыше «Алых парусов» раз в пять лет меняют, у нас там Ромчик метрдотелем. А так — ну, кого это всё за левую ногу? — гнул свою линию дядя Юра. — Японские часы, цветомузыка — это другое дело. Ради этого отваливаете? Так сразу и сказали бы.

— Цветомузыка у нас уже тут, предположим, имеется, — снова парировал Нежинский-старший. — Так что не будем. После обеда устрою демонстрацию с Томом Джонсом. У Ромчика вашего, метра в кепке, кстати, приобретена. Три цвета — вот и вся музыка. Синий не фунцикулет, причём. У мамы, пусть ей земля будет пухом, до войны примус — и то интересней шипел. Так что суслик-другой мог бы скинуть ваш Ромчик.

— Что ж вы раньше не сказали, он и больше скинул бы. От вы даёте! Я ж сто лет в обед Ромчика знаю. Я бы поговорил с ним. Ромчик — это ж такой человек!

Тетя Вера незаметно успела толкнуть мужа в бок, что послужило ему сигналом сменить тему и перевести разговор в более спокойное русло, где и клев получше, и подводных камней поменьше, и дядя Юра уцепился за Ромчика, который был ему не таким уж и другом, — как за леску, после того как клюнуло, и нужно подсекать. Дядя Юра был рыбак, отсюда и метафора: и на закидушку ловил, и на дорожку, реже на спиннинг. Не фанатировал, но в море старался выйти рано, до рассвета. И не один: у дяди Юры не было правой руки, а однорукому на веслах сидеть — удовольствие, сами понимаете, на любителя.

— Если дамы не будут перечить и возражать, — сказал дядя Юра, выпив и порозовев, — я хотел бы поведать присутствующим небольшую историю про моего друга Ромчика. Она в высшей степени интересна и занимательна, хотя и содержит подробности, как говорится, деликатного плана. Дамы, вы как?

— Валяй, похабник, — махнула рукой тетя Вера, хохотнув. — Но, Леночка, обещайте мне, даже если это секрет фирмы, дать рецепт вашей икорки из синеньких. Почему она у меня получается темнее вашей? Ингредиенты — на вкус — мои все. Но сам вкус — не мой. Лена, рецепт икры! Строго между нами, естественно. Но сначала похабная история моего похабника-супруга о похабнике-Ромчике. Рыбак рыбака видит издалека, похабная твоя физия.

— Спасибо, Вераида Арнольдовна, за никому не нужное предисловие, — церемонно отозвался дядя Юра. — Значить, можно?

— Только осторожно, — опять хохотнула тетя Вера и зябко повела плечами, как это делают в танце «Цыганочка».

— Значить это, — начал дядя Юра свой неспешный рассказ. — Однажды Ромчикиного деда-суфлера смертельно ранило в перестрелке: каким-то башибузукам, это самое, не понравился, видите ли, второй акт «Летучей мыши». И что же, пулять по господам артистам по этой причине? Ромчик не любил распространяться на эту щекотливую тему. А дальнюю его родственницу, тетю Зою, что по-гречески означает жизнь во всех ее отправлениях, тепленькой взяли, ночью. Понятые ховали глаза, все-таки классная тетка и руководительница классная тоже не из последних... И вот, однажды летом у Ромчика, который с тех пор подрос, да так, что макушкой стал задевать люстру у нас на Челюскинцев и напропалую встречаться с венгерскими русалками в красивых купальниках-бикини, сломались японские часы. Часовая стрелка за циферблат цепляться стала. Люба Волос (вы должны ее хорошо помнить), с которой тем летом он сблизился не на шутку, шепнула ему заговорщицки после кофе в «стекляшке»: не трагедия, заходи в мертвый час, починю, будут как новенькие. И заодно отполирую до блеска. Они в Прибалти-

ке отдыхали. И в этих словах Любы Волос, точнее, во взгляде ее, скользнувшем по его красивым губам и подбородку с ямочкой, Ромчику почудился второй, сокровенный смысл. А Люба с мужем и не жила почти, даже стеснялась на людях своего физика-лирика, но собачку с собой на отдых все ж таки прихватила — четвероногий символ былой любви без намордника — подарок родственников на ихнюю комсомольскую свадьбу. Прохладно в Пярну в июле, дожди. Люба Волос была по шашлыкам. Журналистка-международница: Брамс, Шагал, в значительно меньшей степени Сальвадор Дали. Филипповы ваши в голос смеялись: брючный костюм, подчеркивающий то, что другие прячут за семью замками, еще туда-сюда, но эта ее шляпа с широкими полями. Джинсовая! Хиппи-пипи бальзаковского возраста и таких же в точности габаритов. Филипповы за ними тем летом увязались, у Муси же туберкулез нашли в начальной стадии, ну, вы в курсе, и когда-то, еще до своего отоларинголога, она с братом Юрия Трифонова, несмотря на кашель и приличную разницу в возрасте, роман курортный крутила, когда он тут в Аркадии жил целый месяц на всем готовом, он даже от жены намеревался уйти, но передумал — она готовила бесподобно, особенно кисло-сладкое, если положить на Ромчика. Собственно, через Филиппову, точнее, у ее шапочного знакомого немца-конокрада на отдыхе, часы эти были Ромчиком приобретены: повышенная стипендия пришлась в самый раз. Починить часы, причем, непременно здесь и сейчас, потому что немца этого ищи свищи потом автостопом. Немец из ГДР сам, наш да не наш, в глазах превосходство читалось, даже лизал он у Любы Волос как-то высокомерно урча, что ли, будто одолжение по генитальной линии делал огромное. Ну, Планктон след взял молниеносно, вышел на спекулянта и громким лаем вынудил вернуть полную стои-

мость минус расходы по верховой езде и ремонт. 120 раз пролаял с мелочью. Столько и вернул немец. Сахарок честно Планктоша свой заработал. И потом, той же осенью, ему еще присудили первый приз за поимку трутня и другие проявления доблести. В газетах еще писали: «В жизни, даже собачьей, есть место подвигу. Необязательно границу стеречь на замке». Не так ли, если отбросить несоответствия и пренебречь деталями, современные певцы и певицы зарабатывают на хлеб зрелищами? Я преднамеренно отступаю в сторону, но один певец Иосиф (вы прекрасно знаете, о ком я) даже в космос готовился слетать под большим секретом и смехотворным предложением, тренировки проходил ежедневные на космодроме. Однако перед самым стартом схватил насморк и потерял голос. Объяснюсь. У него водились деньжата. Приличные. Известный певец, баснословные гонорары, баритон каких нет. Космос был не ездой в незнаемое для него никакой, но баблсити. Вера не даст соврать, есть такое слово частично и в русском уже языке. Витрины лишь прежде были, перекочевавшие к нам из итальянского, да французские тротуары одни заимствованные. А сейчас брать из английского новая мода пошла. Ну да не бздо, они наш «спутник» с «балетом» и «пятилеткой в четыре года» на вооружение тоже взяли как миленькие, в «Вокруг света» недавно было, так что по очкам все равно мы лидируем... Короче, эти 40 тысяч гриннами, затраченные на выход в космос, он собирался вернуть за три года летних концертов, так называемым чесом. Его шлягеры были про море, большей частью, поскольку на курортах, собственно, и исполнялись, часто на бис. В одном из праздничных «Огоньков», если память не барахлит, он выныривал из пучины зрителей-космонавтов и героев труда в ластах и маске, с трубкой во рту, а из трубки вылетали слова-пузырики, смахивающие на кусочки медуз, напо-

ровшихся на действующую мину, или же, что еще точнее, на заварной арабской вязи крем:

Атлантика бьет тревогу,  
Сдирает кожу со скул.  
Я еду к вам на подмогу!  
Я не боюсь акул!  
Не я-а! Не я-а!  
Я не из тех, кто боится акул, мама-а!

И вот однажды он пригласил Любу Волос к себе за кулисы. Ну, она на передок по-любому была слаба, а тут еще телевиденье, горы, просто охапки цветов целые. А она уже успела от Ромчика двойню произвести: а что делать, когда дожди стеной, а муж раньше срока в Москву вернулся — работа в НИИ, семинары, коллоквиумы, не пропадать же добру. Осетрина-то с дружкой, а не с душкой в этой версии бессмертной «Дамы с собачкой» вышла. Не хотела аборт делать — стреляй в нее: первая любовь (муж был не в счет). А певец уже сдавать стал, медные трубы — испытание не для хлюпиков, гири стопудовые и то подымать легче. Ну, он ее это, шаловливо ногой задел под водой. Она и подумала: «краб», ан не краб то — ступня. В ответ она хватить его, не по-женски нагло, на себя тянуть стала из плавок прямо. У него поплавок пошел пружинить кругами, покачиваться! Что сигналом ей послужило: подсекать, блядь! клюёт! Не проворонь! Нравлюсь, значить, мужчинам еще, на глубинном уровне привлекаю, ну и что такого, что под водой, и дифракция. А на пляже в Пярну, или это уже у нас тут, на Ланжероне, ни души: ветер, чайки, она их альбатросами с бодуна как-то назвала, потом они еще дразнили ее выкриками. Одна, самая беспардонная, насрала, не к столу, певцу прямо на поплавок. Это вам сейчас смешно, а ему тогда? А ему тогда не смешно. Ей-то по барабану, он крепко ее

на берегу раскурочил, потом слюной стал смазывать перед входом на детский пляж. Ой, Иосиф. Он: Что, Иосиф? Она: Не здесь, Иосиф! Иосиф: В смысле? Топчан? Давит? Люба: В смысле песок, и трет. Вылижь лучше — для связок будет. Иосиф: А? Не до конца понял, но уступил, подчинился напору. Волос девятым валом пахла в промежности, и он, как синдбад-мореход, стало быть, взял ее и увез туда, где экзотика нутряная, где внешнее переходит вовнутрь и назад. Где там Ромчику рядом с ним в этом разрезе! Куда ему до певца всенародного!

— Да-а, — потер переносицу Нежинский-старший после неловкой паузы. — История, доложу вам... Ну что, еще по одной?

Когда мужчины скрылись в спальне на цветомузыку в действии глянуть, женщины не выдержали, расхохотались, долгое время в себя прийти не могли, потом закурили.

— А синенькие (баклажаны) готовятся очень просто, Верочка, — наконец сказала Лена Нежинская, утирая ладонью слезу. — Значит так. Берутся синенькие (или баклажаны) в руку. Взвешиваются — на глаз, чтобы были легкие, желательно. Если легкие — значит, мало в них семечек. Моются, кладутся сверху на плиту, на крышку плиты, то есть, и поворачиваются, чтобы как следует обжарились, до готовности, чтобы был запах дыма. Запах дыма — обязательное условие. Нет запаха дыма — значит, нет синеньких. Когда синенькие становятся мягкими, с них снимают шкурку, отрезают черенки и рубят секачом. Мелко-мелко. Тут же очищают помидоры, снимают с них шкурку, и всё вместе рубят. На две синенькие — две средние помидоры. Добавить три-четыре зубчика чеснока, тоже нарубить мелко, потом смешать (отдельно, а потом смешивают). Помидоры можно натереть на терке. Смешивается всё, добавляется уксус, подсолнечное масло, соль, перец, сахар — всё смешивается, должно смешиваться долго,

чтоб была однородная масса. Тут консистенция важна. Можно украсить помидорами, можно не украшать помидорами. Важно одно помнить, Верочка, — двух хозяек, готовящих икру из синеньких одинаково, нет в природе. Но если вдруг у вас получится точно так же, как у меня — большой беды в том я не вижу. Я икру из синеньких (баклажанов) буду готовить в Бруклине где-нибудь, или в Детройте, а вы — здесь, в нашей красавице-Одессе.

*(Из романа «В пятьсот веселом эшелоне».)*

2015

## МОРЯК В ЧАС

Санька Граченко на всех парах подлетел к понуро стоящему у мусорного бака Лехе Можжевелову и стал высвистывать ему про моряков, что приплыли из Кубы и бродили по городу, искательно заглядывая девушкам в глаза.

Леха крепко задумался: просчитывал варианты. У Саньки недавно пропала без вести мать-алкоголичка, и он пропустил полчетверти. Четвертой, решающей. А его дядя, Роман Ломтев, зимой отчалил в Америку, где, судя по письмам, баснословно разбогател. Купил такси, а на вторую смену посадил гайанца одного без визы, короче, раскрутился по полной. Саньке нужна была идея, цель, фата-моргана. Моряки приехали с Кубы и хотели девочек. У Лехи были некоторые связи по этой части. И Санька подбил Леху помочь морякам и на этом немного подзаработать. У Саньки был список желающих, и даже очень: Хосе, Хосе, снова Хосе, Хорхе и Фидель-Луис. Нужны были три девушки с пропускной способностью моряк в час.

Нашли Нинкá. Она в свое время с паном Цыпой гуляла, так Санькиного брата Нолика прозвали за длинные волосы. Пан Цыпа знал французский. Читал Доде в переводе. Нинок умела все, даже «мотылька» друзьям на скорую руку устраивала. Любила шмотки. Цыпа ей о фовистах, она ему о колготках нервущихся.

На кладбище сняли Веру Палну. Она ломала руки, причитала: «На кого ты меня оставил, Изялэ!». Получалось, что ни на кого. После смерти супруга (он отравился супом в «Щитовидке») В. П. вконец эмоционально голой осталась. И с бабками неважнец.

Нинок и Вера Пална по-быстрому пирамиду соорудили: Сталин жил, Сталин жив, Сталин будет жить — и под куполом планетария, как орел в вышине, парить. Хорхе и Хосе попросили сóсу-сóсу. Это они в разговорнике надыбали. Нинок-многостанок сходу взялась за дело: лихо переложила косарь, два слоеных, один с тряпками, очень, знаете, это, между бороздкой утробно-костяной, пряной. Вера Пална по-матерински прижала парней к мужниному лапсердаку: ого, глаза на лоб, у Изялэ перчик был так, мелкого помолу, а Хосе в этом смысле был настоящий лемюэль гулливер. Ему так хотелось, аж дрожало: в трюме на матрасе кубометр вконец одичал. Она, В.П., тоже исходила сексволнами вдовьими. А моя Ганя как раз с таксопарка мимо шла, светловолосая, соленоватая, ой, что это вы до меня, чиполлины, чипляетесь, спросила она у всех этих так называемых персонажей. Они ее даже не удостоили, заняты были, в катакомбах заслонки ставили, когда ее маман хипеш такой подняла, что я прямо ноги в руки и полный атас. Дружинница коротконогая с повязкой ходила-ходила, ну надо же, ну посмотрите на нее. Миколашкипер с братского Лыдерпулу стремился в дом отдыха «Костер», аж пропитался дымом весь. Но рассказ не о том, а о прошедших днях, не вернуть которые.

2005

## ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС

### I

*Presto con espressione*

Лысый дядечка с кислым землистого цвета лицом (здесь и далее: Фима Механик, папин товарищ и компаньон, у них в свое время была небольшая ремонтно-художественная мастерская в подвале на Чижикова, папа был специалистом по левым будильникам и чеканке, дядя Фима отмазывал хлопцев из ОБХСС, они неплохо торчали, особенно летом, но когда папочку все-таки взяли за шкирку, дело пришлось спустить на тормозах, так вот, дядя Фима Механик) имел как-то неосторожность при маме, пусть ей земля будет пухом, рафинированная была женщина! а как Брамса любила! а какая хозяйка! а как Пушкина знала! — мы с сеструхой шутили, что мама даже десятую (сожженную) главу наизусть знает, — так вот, этот самый Механик, будь он трижды неладен, имел неосторожность при маме непочтительно отозваться о поэте Рождественском, мамочкином любимце. Речь, если не изменяет память, шла о пользовавшейся всенародной любовью песне «Свадьба». Особенно Финика (так мы с сеструхой прозвали Механика, поскольку лицо его, в самом деле, было сморщенным, что твой финик) раздражали следующие две строчки из песни:

Только грянули гармошки что есть мочи  
И руками развела тишина.

Их-то он и пропел фальцетом, придурковато закатив глаза и вибрируя кадыком, а потом вовсю пошел глумить-

ся над поэтом, имитируя его дефект речи, — что, на мой взгляд, было явным ударом ниже пояса, — и далее, используя обороты дореволюционного обвинителя, принялся расхаживать взад-вперед по нашей более чем скромной кухне, вертеть, как голодная канарейка, головой, и вопрошать, обращаясь к колонке «АГВ» и одновременно игриво позыркивая на маму, насколько вообще правомерно употребление, а не лучше ли будет сказать: злоупотребление, этим, прости Господи, служителем муз персонификации (а если точнее, персонификацией) тишины в к-контексте деревенской тематики, ну ё-мое, ну хватит уже, ты заткнешь свой хавальник или тебе помочь, ты думаешь, если батя под следствием, так тебе все дозволено, хамло ты такое?!

Услышав отчаянные крики, — это мама, не посчитавшись, что на госте был приличный сиреневый клубный пиджак с блестящими пуговицами, решила там же, не отходя от плиты, дать отпор наглецу и, ничтоже сумняшеся, опрокинула Финику на голову полтарелки зеленого летнего борща со щавелем, крутым яйцом и сметаной по вкусу, — Люська, так звали сестру, вбежала на кухню, на ходу застегивая джинсовый халат: она разучивала в столовой гаммы, и руку ей ставил студент консерватории, длинноволосый скрипач-нигилист Сережа Антонопуло, внук одного из лучших детских врачей города Сергея Антоновича Антонопуло-Сергеева.

— Мама! — только и успела крикнуть Люська. — Мама, прекрати сию же минуту!

— Ай, брось, Лючия, — фыркнула мама. — Пусть скажет спасибо, бамбина, что он холодный. И постный. Подонок.

— Но за что, Ева? — чуть не плакал Финик, осторожно снимая с ушей укроп. — За что?

— А за все, — мрачновато резюмировала мама. — Ничтожество.

## II

### *Andante e cantabile*

Я знал ее по городу. Она ходила со старшеклассниками. Так тогда говорили: ходила, ходит. Так вот, она уже вовсю ходила. Нравилась второгодникам с нездоровым блеском в глазах, прощала им скабрёзности, резкий запах пота. Они уже курили все. Швейцарам у гостиниц втихара совали рубль, и те, оглядываясь, выносили им «америку». Тогда все, что не наше, «америкой» считалось, даже из соцстран. Я наблюдал, как она в платье абрикосового цвета растворялась в глубине Пале-Рояля, и оседал, задетый за живое ее походкой. Все больше в голове, но иногда и на скамейку, чтобы прийти в себя, собраться с мыслями, остановить сердцебиение. Она передвигалась очень даже нефигово, как бабочка, на пестик перепархивая с пестика. Перемещалась, дразня сетчатку волнами различного диапазона, и тут уже без слов понятно было, что получалось из-за этого на красный. Переходя, гасила свет, и сразу все темнело в переулке, и ни за что нельзя было решить, что лучше — вот сейчас или чуть позже, когда вдали задребезжит трамвай. Лошади тогда все сгнули почти, одну оставили: детей на ней за пять копеек навозом подышать назад к природе наловчились — и детворе, как говорится, праздник, ну и извозчик не сидит без дела. Последних «Москвичи» и инвалидные коляски потеснили; ее отец был тоже без ноги, его протез красноречиво говорил и о войне, которая была совсем недавно, и где пять лет назад обещанный автомобиль, чтоб вам всем пусто было с вашим исполкомом, — мелькая в промежутке между кромкой штанины и коричневым ботинком, риторически скрипел.

Она порывисто распахивала форточку в полуподвале с братом и женой из Симферополя, и сразу залезал

туман, куда мне даже и не снилось, и арии из Оперного раздавались громче, — их репетировали там с утра до поздней ночи, и ропот очереди за кефиром служил им легким аккомпанементом. Ее отец храпел — чуть было не сказал, без задних ног — перед «Рубином» на диване, речь шла не то об урожае где-то близко, не то о забастовках где-то далеко.

А иногда шуршала по подкорке подошвами растоптанных сапожек, ведь уши — не глаза, их не закроешь, если руки заняты, а руки часто были заняты. И будоражила тяжелым запахом густых волос, не обязательно чистых, но постоянно до попы. В апреле все уже сочилось под ногами. И не только. Ее белые гольфы. И колени поближе к экзаменам загорелые. А потом — вплоть до самых трусов. Но не мне. Мне — теряться в догадках, елозить под одеялом, сквернословить в подушку. Почему, ну почему то, что хочешь сильнее всего, обязательно спрятано? Потому-то и хочешь, что спрятано? Или спрятано, чтобы хотелось? Запретный плод, а кем, кем запретный? Кто первый сказал: нельзя? Какая сука такая? На заборах пишут, а взглянуть? На стенах царапают, а потрогать?

Я обливался холодной водой по утрам, мне позарез нужны были мышцы на лето, чтобы хоть как-то, хоть чем-то... Я растирался до крови, я отжимался от пола. Сосед-культурист дядя Боря одобрительно крякал, и кивал, и показывал, как обращаться с эспандером, чтобы мышцы груди это самое, а то это.

А отдельные птицы уже снимались с насиженных мест и писали из Вены чудесные письма. В одном значилось: «Красотища невыносимая! Но необходимы бабки. Хорошо идут простыни, оптика». В другом хвалили комнату Брейгеля в музее Кунст-хреновище что-то такое.

Она сидела на скамейке у памятника и ее лапал он. Я наблюдал из-за афиши, но ошибки быть не могло: он

целовал ее влажную шею... А-а-ах, ты!.. Я не спеша обливал его керосином из ржавой канистры, я подносил зажженную спичку к причинному месту, место вспыхивало, вздувалось, место шипело, там ведь железы, мы проходили, он обугливался целиком, он сгорал без остатка: от фуражки Коммерческого училища до подметок нечищенных башмаков, его хоронили одетые пожарниками товарищи, медь превалировала.

### III

*Vivace, ma non troppo*

Наши отцы дружили, мамы терпели друг друга, а мы — нет. То есть, терпеть терпели, но дружить? Он был старше меня на два года, а в четырнадцать — это вечность. По воскресеньям, после «С добрым утром» мы с папой, выпущенным под подписку, заваливали к ним на завтрак, его, конечно, не оказывалось дома — наш Харитоша с барышнями на пленере — стол был уже накрыт, мой папа извлекал из сумки еще холодную «Столичную», Фима Механик с деланым радушием хлопал в ладоши, балагурил, прицеливался, щурился, первую опрокидывали, не закусывая, вторую занюхивали корочкой черного хлеба, и только между третьей и четвертой сайра-шпроты-селедочка-с-картошечкой-в-мундире-с-лукчком-в-уксусе-и-масле поглощались, и поглощались, и поглощались, сопровождаемые причмокиваниями, прищелкиваниями, шутками, тостами за возвращение в лоно, за отсутствующих (ненадолго, но и на том спасибо) жен, а также — Юлик, быстро закрой уши — за женщин вообще и за их женскую сучность...

«Наш Харитоша с барышнями на пленере». Слова эти резали слух. Ты гулял с барышнями, а я нет. У тебя были

диски, а у меня нет. Ты умел играть на гитаре, а я нет. Ты носил вельветовые клеши и платформы, а что носил я? «Не можешь срать — не мучай жопу», — изрек однажды ты и отобрал гитару, когда я лажанулся в Lucy in the Sky with Diamonds. Ну, лажанулся человек в припеве Lucy in the Sky with Diamonds, так что же, из-за одного поганого аккорда ему на всю оставшуюся жизнь комплексы навешивать? Подумаешь, «Девятая симфония»! Ты был жесток со мною и несправедлив.

И все же я хотел с тобой дружить. И праздники хотел в твоей компании встречать. Хотел. Не приглашали. Много чего хотел: как у тебя прическу, твой щегольской монокль на шелковом шнурке, твой портсигар с чеканкой «Штурм Плевны», твой шарм и легкость в обхождении с прекрасным полом, хотел играть, как ты, на шестиструнке Don't Let Me Down, эффектно запрокидывая голову...

Тем летом я часто встречал тебя в городе с пластинками подмышкой. «Ну что там папа?» — спрашивал ты как бы между делом, я отвечал: «Спасибо, лучше, скоро выпишут», — и хотя папе было хуже, а не лучше, и ты это отлично знал, да и я знал, что это знаешь ты, мне льстило, что у нас с тобой беседа, что я с тобой почти на равных, и что нас видят пацаны из моего двора, и я прошу у тебя закурить.

— Член, завернутый в газету, вам, молодой человек, заменит сигарету, — говорил ты, но сигарету все же давал. Царственным, сука, жестом.

— Не смешно, — лепетал я и просил прикурить, но ты оставлял меня на углу (Греческой и Ленина) с незажженным «Опалом».

— Извини, тороплюсь, — подмигивал ты и добавлял, удаляясь: — А вообще-то, спички — не яички, свои иметь полагается...

Куда ты торопился — я прекрасно знал.

## IV

### *Capriccio: Andantino grazioso*

В известном смысле все было таким же, как всегда: весла, руки на веслах, гребцы на скамейках, спасательные жилеты на гребцах, их возгласы: позвольте, господа! либо мы на себя, либо мы от себя! И все же, все же... А ватага коротконогих толстозадых сорванцов в матросках, визги которых все явственней доносились до шезлонга, где он, тцась обороть дремоту, вникал, вникал — и не мог вникнуть в содержание брошюры, как бы нечаянно забытой ею на подстилке? А это уже черт знает что такое... «Несколько вводных замечаний об особенностях наиболее эффективного спаривания парнокопытных в неволе». Парнокопытных? В неволе? Однако.

Звалась она чуть старомодно, в духе блекнувших уже 80-х, Л. И берет свой бархатный носила лентами набор, так в нем и ходила повсюду! Не брезговала и по-кошачьи ластиться, лизаться торопливо-нервно, с оглядкой, словно опасаясь окрика бритоголового кондуктора с задней площадки бельгийского трамвая, и щекоталки в корсаж совала, как гимназистка нецелованная, и цокала полупритворно, когда, забывшись, неторопливо ласкал ее упругий, бледный прочерк, внезапно покрываясь испариной за матовыми ушками и на затылке. Кто был с ней близок, тот навряд забудет камин на Маразлиевской, и треск дровишек, мигрени частые да два-три локона подружки детских игр в коробке из-под флердоранжа, что хранила в саквяже у трюмо. Любил он ее бережно, чуть скупое даже, дабы не растратить до поры сокровища ее нескромные, прекрасно сознавая, что не ему они достанутся в конечном счете, но получателю, а он всего лишь мальчик на посылках, из любопытства заглянувший в письмоце...

Какой, скажите, живописец, какой фотограф и какой голограф создаст творение, пусть приближенно, но сопоставимое со смятенным духом сего кавалера, с бреющим полетом развращенного ума его? Нет, не под силу это нынешним ж.-о.-д. энграм, надарам и австро-венгерской группе «Зиптрулиббе» — здесь подавай изящную словесность, слова, сравнения: оптическому нерву, алчущему невербальных стимуляций, тут поживиться нечем.

Военные к ним приходили в штатском, штатские за полночь, когда остывал камин, дорогая. Мысли приходили скверные, но не оставляло чувство, что они не его, сейчас уйдут, сославшись на дела, случайные, подслушанные кем-то. И он был зол, но как-то вяло зол, не неумной злостью первой молодости, когда не различить: мир ли козел, и молока ждать от него — себе дороже, ты ли единорог, но без приличествующей настроенью девы.

Военные раскладывали пасьянс-с, перебрасывались тонкими военными остротами. Одна про рояль и хихикающую пятнадцатилетнюю особу в бальном платье и шальварах удручала более других. Она играла песни Беранже — их распевал тогда весь город — потом этюд-другой Шопена, потом ее имел в четыре руки поручик-вдовец Алмазов. Жена его, Алисия, бежала с заезжим укротителем диких зверей Иваном Падших, и как-то раз, на репетиции, когда Ив. Падших отвлекла нечаянным вопросом немолодая, но вертлявая донельзя женщина-каучук Полина Антонопуло, Алисию, рассеянно листавшую «Journal d'Odessa» на высоком табурете у кулисы, в мгновение ока растерзал бенгальский тигр Тишка, от которого всегда скверно пахло... Ужасная, неправдоподобная кончина! Клоуны рыдали, размазывая слезы по нафабранным подбородкам, соль остроты растворялась в ее многословии, фраза «имел в четыре руки» отталкивала неуместной виртуозностью.

Что до штатских, то они, дурачась, сражались во времена года; друг семьи горе-негоциант Подольский неуклюже представлял осень, шуршал листьями, делал вид, что улетает в теплые края, моросил на окружающих... Боже, как надоели эти вечера, эта чеховская скука, эта хандра, описанная многожды и уже успевшая дать метастазы в труднопроизносимых местах, и это в городе, где это казалось невозможным! И это его тоже злило. И это бросалось в глаза: он стал желчен, сварлив, реже брил бороду, махнул рукой на подусники, грозился рассчитать повара — все казалось пережаренным, недосоленным, скисшим.

Дорогая, ты забыла его, ну скажи? Он был предан тебе, подносил «Лориган» Коти, бесконечные монпансье, орхидеи от Лапенштока, невпопад и неточно цитировал Малларме, целовал пальцы ног, тыкал прочерк в душистое декольте, он был свеж тогда, да, дорогая? Ты забыла его, ты забыла его, ну скажи? Ну скажи: я забыла его, я забыла его.

— Я забыла его, я забыла его.

— Я не верю тебе, дорогая.

## V

### *Finale: Allegro con spirito*

Перед кончиной папа стал проявлять странности. Разгуливал по городу в одних трусах, строил глазки передовикам на стенде; громко призывал автоматы с газировкой прекратить насаждать чуждый нам образ жизни с двойным сиропом; кричал регулировщику на площади: «Мадам, вы просто обаятельны! И этот жезл ваш! И эти ваши эполеты!». Часами с неприязнью мог разглядывать памятник Пушкину, повторяя на все лады одну и ту же фразу: «У, немчура, такой язык исковеркать! Такой исковеркать, немчура, язык!». Давал слепому в тубетейке рубль

на Тираспольской, требовал, как минимум, сорок копеек сдачи, не получив, обзывал слепого Гобсеком, каких свет не видывал, чуть погодя плевал в его кружку. Слепой негодовал: «Ты сам такой! Ты даже еще в сто раз хуже!» — и норовил попасть коленом в папин пах. Папа увиливал, перебежал вприпрыжку площадь, размахивал над головой коробкой грильяжа «Метеор» конд. ф-ки им. Р. Люксембург...

В больнице папа подробно объяснил нам значение слова диссидент. Как оказалось, мы с Люськой ошибочно принимали это за разновидность дезодоранта.

— Ну, вот еще! — обижался папа. — Диссидент — это протестующий, несогласный, выбивающийся из звукоряда, как парик В.Ульянова из-под кепки. Тут важно одно понять, дети: протест возможен при любой погоде. Достаточно в ливень вместо собаки выйти на улицу самому и считать происходящее не в двоичной, как эти дурни, системе, а между точками отправления большой, скажем, нужды, и вы поймете меня без особых хлопот.

Папа и раньше был не дурак пофилософствовать, но только после следственного изолятора привычка эта сделалась его насущной потребностью. Родись он в другую эпоху, его бы на руках носили, я вам точно говорю. В нашу, правда, тоже носили, но всего лишь дважды: санитары со Слободки — в первый раз, и мы с мамой, Люськой и Сережей Антонопуло по дороге на Еврейское кладбище — уже во второй.

— Наступает такое время в жизни спортсмена, — наставлял папа с больничной койки, — когда награды, звания, аплодисменты трибун и ласковые взгляды подружки сами собой уходят на второй план. Прыгнул, лапку не сломал — вот и хорошо, вот и славненько. А если кто-то выше и дальше, то, поверьте мне, всегда найдется и шире, и глубже... А вы любите друг дружку, дети. И других не за-

бывайте, хорошо? Так нам наш звездный папка советовал. А не можете — сделайте вид. Что же может быть проще, скажите мне?

Как — что, папа? А ненависть? Ну ты даешь! Ненависть проще, папуля! Всех любить? Так-таки всех? И Механика, заложившего тебя с потрохами к такой-то маме, — любить? И Харитошу, который часто и с удовольствием — прочерк — мою любовь?! И эту ебаную — прочерк — на хуй жизнь со всеми ее гнойными последствиями и нездоровой синевой на третьи сутки? Любить, папа?

— Да, — сказал папа. — И не ругайся мне.

— Именно, — сказал папа. — А як же!

— Си, — сказал папа. — Чертаменте.

— Вот-вот, — сказал папа. — Соображаешь.

— Ага, — сказал папа. — Ты уже понял?

Умер папа с озорным и вместе чуть высокомерным выражением на бледном лице, а если к этому присовокупить выглядывающий из-под редких усов кончик папиного языка, то можно предположить, что перед кончиной он либо дразнил кого-то, либо вполсилы заигрывал с медсестрой, либо — что менее вероятно, а впрочем, — хотел наклеить незримую марку на несуществующий конверт, но, поразмыслив, решил не суетиться: дойдет и так.

2000

## ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА

Джо «Крепкий орешек» Финк, с задержками, полупорожним товарняком добрался до города, где он, по словам Дианы «Зябко ль тебе девица» Нойз, в детские годы хуем груши околачивал. У них был небольшой садовый участок. Кулаки у Дианы были крепкие, румяные, в фойе кинотеатра «Смена» пломбиром баловалась, а ему глаза закапали, не поймешь, кто там в главных ролях, кто в эпизодах.

Джо шел по незнакомому городу. Под ноги с карнизов что-то сыпалось. «Где ж/д, не подскажите?» — остановила его хромая девушка в брючном костюме. Он не понял, пожал плечами: «Это вас нужно спросить». Она на него уставилась, будто рукоятка от мясорубки у него из уха торчала.

Джо зашел в темный дворик. «Мальчик, где тут такие Люсик и Всеволод Пакчаяны живут?» — «Так это ж мои дядья!» — мальчик с балкона чуть не слетел. «Шутишь?» — «Бля буду». И мальчик сбросил ему связку ключей с запиской: «Поднимайся, скоро будем, не скучай, и мальчика, и мальчика не замечай».

Мальчик молча откупорил бутылку «Курвуазье», тяпнули по одной, тяпнули по другой, потом в последние слова играть стали.

- «Больше света»?
- Эдисон?
- Гете. «Вон отсюда»?
- Маркс.
- Правильно. Кант?
- Не знаю.
- «Хорошо». Абельяр?

— Не знаю.

— Правильно.

Вконец Джо запутался. Налили по третьей.

— Люсик у нас комсоргом был, а с Севкой мы вообще... — сказал Джо.

Пришли Люсик и Всеволод, постаревшие, стали про Америку расспрашивать. «Ну, что Америка, — отвечал Джо. — Америка как Америка. Что у вас тут?» Люсик и Всеволод крутились как могли: купили дом на Паскудова, выселили пенсионеров, первый этаж под банк сдали, но банк прогорел и этаж пустовал. Где-то на пол-лимона залетели. Люсик что-то вспомнил, исчез в спальне, вернулся с чашкой в форме биде, из которой Диана когда-то любила чай пить.

— А сама леди Дай как? — спросил Всеволод.

— Кому как, — сказал Джо. Три года назад Диана ушла от него к известному художнику-активисту, который неделями нагишом на полу галереи просиживал, питаясь одними хот-догами в окружении тикающих будильников, а под конец перформанса обмазывался горчицей и предлагал посетителям полизать. Многие отказывались, Диана не устояла. Будильники показывали точное время в столицах стран «большой восьмерки». Жемшича, или как его, даже на биеннале в Белград приглашали, так он был актуален.

— Опаньки, — сказал Джо. — Я же на кладбище собирался.

— Не рано ли? — воскликнули Люсик и Всеволод.

— Мне к дяде Коте.

Дядя Котя был заядлым курильщиком, но дотянул до девяносто шести лет. Последними его словами были: «Столько не живут», — почему-то решил Джо. Памятник оказался у кладбищенской стены, могилка заросла крапивой, следить за ней было некому. Кого бы попросить, подумал Джо. Мальчика?

По кладбищу в поисках родственников бродили иностранцы с букетами георгин, и Джо ощутил себя частью сложной машины для ностальгирующих некро-номадов: здесь дядя лежит, а там его дочь, а тут первая любовь, а тут вторая. Так он Люсику и сказал. (Всеволод остался дома обед готовить.)

— Будь проще, Жорка, — ответил Люсик.

— Еще проще? — спросил Джо и увидел Диану Нойз.

«Чертова кукла», так прозвал Диану Нойз папальпинист доктор Кох. Кох-то Кох, да будь сам неплох, подзуживали его коллеги по Эльбрусским пикникам. «Лучше гор могут быть только горы», пел старый маразматик под Высоцкого со товарищи. А Диана своевольность выказывала еще в младенчестве. Златокудрым ребеночком вопила: «Не хочу голубой костюмчик, хочу розовый!». И надевали, как миленькие, розовый. А он? Заполз год назад на башню Койт в Сан-Франциско, звонил ей оттуда, поевживаясь, из автомата. В ответ ни гугу. Почему не ответила? Он же и трахал ее периодически, и подарки дарил, скромные, но от души. В Европу возил, на фестиваль в Верону и в Зальцбург...

— Диана?

— А, привет, Джо! Знакомься: Джо — Жемшич. Жемшич — Джо.

И из-за памятника папе Коху высунулась бритая голова в модных очках.

— Гуд ту мит ю, Джо. Кул плэйс, ха?<sup>1</sup> — ослабилась голова.

— Жемшич хочет тут арт-интервенцию замутить, — объяснила Диана. — Контекст дискурса нащупывает.

— Прямо тут? — спросил Джо. — Кул.

«Какого хрена я отдал пять лет жизни этой арт-дуре? — думал Джо в пакчаяновом „Лексусе“. — Мог же

---

<sup>1</sup> Приятно познакомиться, Джо. Здесь клёво, а? (англ.)

ниться на ком угодно. Тогда это было просто. Все были чьи-то знакомые или родственники. Собирались на даче, играли в бутылочку, танцевали».

— А как там, кстати, наш Гарик? — спросил Джо. — У него еще сестренка была, подметки резала на ходу.

— А что тебе его сестренка, старый ты греховодник? В Москве наш Гарик, крутится. А с сестренкой, конечно, полный абзац вышел, — и Люсик стал оживленно размахивать руками. — Одолжила сестренка лимон под высокий процент. А партнер ее, кстати, тоже американец, к здешним заморочкам оказался, прямо скажем, не очень...

И тут их что-то сильно стукнуло и подбросило, и развернуло, и заставило перетечь в другое пространство, чуть ли не вечность усеченная их поглотила, выдавив мозг и раскрошив, и невесть откуда вдруг всплыл зоопарк в жаркий полдень, где ты и зритель, и экспонат, где за небольшую плату тебе дадут горстку сухого корма, дадут посмотреть (на себя) и погладить (себя же), и потрепать по загривку (тоже себя), а у входа женщины с серьезными лицами торгуют пыльными арбузами и вырезают из них треугольные пирамиды, и подносят на пробу на острие ножа, только фиг их попробуешь, только губы изрежешь.

Хоронили Джо и Люсика под проливным дождем. Всеволод прижимал к себе мальчика, мальчик всхлипывал, повторял: одна вещь является тождественной другой не по сущности, а в силу их безразличия... Между могилами мелькали зеленые кроссовки Жемшича. Жемшич снимал похороны на цифровую видеокамеру в режиме мягкой фокусировки, а Диана с раскрытым зонтом трусила за ним следом и переводила прощальные слова и молитвы. Дискурс будущей интервенции обретал новое наполнение.

2007

## ЮНОСТЬ БЕРЕЛЕ

### (Интермедия)

Береле-чертежник был тот еще хохмач. Хохматься он мог шесть суток подряд. Пиньчик от его хохм аж на ушах стоял. Чтоб я так был здоров. Береле питал пристрастие к садомазохизму. А у кого, скажите, нет своих странностей? Пиньчик — тот, к примеру, растлевал попугайчиков. Это был вообще смертельный номер.

Пиньчик как-то выразил Додику соболезнование. Додик был гангстер без одной руки. Его оперировал сам доктор Я. — светило, один из лучших хирургов города, умница, эрудит. Операция прошла довольно успешно. Береле достались пиджаки Додика. Пиджаки Додика: его двубортный вельветовый пиджак с шелковой подкладкой, что он привез себе из Чехословакии, его клубный пиджак с золотыми пуговицами, что он шил у Адика в «Пассаже». Адик недавно умер от заражения крови. По поводу его кончины Пиньчик выразил соболезнование Додику. Додик был гангстер без одной, отрезанной Я., руки. Рука эта сейчас лежит в Израиле, в Институте Красоты. Тесть Додика сейчас тоже там. Пока он доволен. Они получают пособие, внуки учат иврит. Береле-чертежник очень доволен. У него свой цех, они шьют безрукавки. Он говорит: мне чужда жажда наживы, но жить же как-то надо. Пиньчик от его хохм стоит на ушах. Он растлевал попугайчиков, полный шмок. Попугайчиков! Мало ему Левиной жены.

Хирург Я. недавно открыл эротический салон на семь мест. Его охраняют ребята Додика. Додик сделал себе имя, когда въехал на своем инвалидном «мерсе» в толпу жлобов

Шкафчика, что стояла у «Красной» и ждала, когда Береле кончит Леву. От них осталось одно мокрое место. Пиньчик со своей новой пассией в клетке тем временем возвращался из зоомагазина. Тут Береле, оставив Леву в покое, выкрикнул с третьего этажа свою коронную хохму: «Пиньчик, не делай ему больно!». Мы все покатались. Пиньчик пригрозил ему кулаком. В это время к «Красной» подваливает жена Левы. Она была вне себя. Недавно она вернулась с Америки, где неплохо отоварилась. Ее брат там неслабо стоял на бензине. Она искала Леву.

«Он у тебя?» — крикнула она Пиньчику, пардон, Береле в окно.

«Уже нет!» — ответил Береле и сделал неопределенный жест рукой.

Я сразу вспомнил Додика. Если б он видел эту сцену, он бы встал на уши, клянусь здоровьем!

И вот Береле в одном из пиджаков Додика, что тот шил себе у Адика, выходит на улицу. Он направляется к нам и заранее улыбается своей следующей хохме. Му уже ждем, что будет дальше...

Нам тогда казалось, что это время никогда не кончится!

А оно и не кончилось. Это Лева кончился. Потому что не надо выпендриваться. Жена Левы сейчас в полном порядке. Она сейчас тоже в бензине с братом. Вернее, брат пока сидит, а в бензине она со мной. Она очень помогает Береле. Его цех недавно поджег Додик. Они поцапались ну из-за ерунды: Береле обозвал Додика Сервантесом. Ну и глупо: он же знал, что у Додика эти номера не проходят.

1994

## В ГОСТЯХ У ДЕВОЧЕК

Однажды Володю пригласили в гости две женщины свободных взглядов, одна работала в книжном магазине товароведом, а с другой он когда-то учился в техническом вузе и частенько согревал ее зимой, когда дуло, но исключительно на платонических началах. Как он узнал про их свободные взгляды? На лбу ведь у них не написано, каких они там взглядов. А у них обувь была легкомысленная очень, без задников, такую женщины только свободных взглядов и носят. Очень откровенная обувь. Большие пальцы сквозь специальные щелочки проглядывались, напоминая толстых, взбудораженных пивом креветок. А те и рады ими шевелить призывно.

Что было на столе в тот памятный вечер у товароведа Риты и инженера Саши? Белое вино было, недорогое, три бутылки, пирожки с мясом и картошкой, еще теплые, и шоколадные конфеты с орехами. Рита была рыжеволосой девушкой, исполняющей на свирели украинские народные песни в свободное время. Инженер Саша, брюнетка с маленькой и очень упругой грудью, предпочитала трип-хоп. Она суетилась больше подруги и зажигательней смеялась, поскольку желала Володю больше. Ей очень хотелось с ним попробовать, она слышала, что в постели он настоящий лев, грозный, раздражающий добычу на куски, истекающий горячим семенем, подрагивающий судорожно некоторое время после оргазма. Так оно и случилось. Всю тахту ей заляпал, гривастый, пока девчата по нему скакали.

А встретились они случайно, в трамвае. Володя ехал на работу в свой тир, и вдруг: боже мой, Вовка, сколько лет!

Рита, Саша, куда вы, девочки? На работу. И я на работу. Да, да. Такая взрослая, скучная жизнь. А помните... а давайте... сегодня вечером у Саши. Это предложила более смелая в любви Рита.

И солнце дробилось в заднем стекле трамвая. А в трамвае они одни были, будто во сне. И Саша пила молоко из бутылки. И след оставался на ее верхней губе (белый). Кто-то скажет что-то смешное. Она так и прыснет. Звуки свирели. Володя смотрит в окно на деревья. Конечная остановка улица Льва Толстого. Деревянная калитка. Пожилой человек в пижаме и соломенной шляпе смотрит вдаль, высматривает кого-то. Володя идет мимо. Старика зовут дядя Андрей, и он ждет «скорую помощь». У жены снова сердечный приступ.

А Володя идет дальше. Аллея. Мальчишки играют в футбол. Очень толстый мальчик на воротах. А кто там у них полузащитник?

Девочки, Рита и Саша, играют в бадминтон. Движения их плавны. Волан висит в воздухе.

Володя! Володя! кричат девочки.

2002

## ФИЛОЛОГ ОЛЯ

Недавно я нашел запись в дневнике, который вел той осенью:

«Упрочить свое положение у нее в голове посредством ежевечерних встреч под часами у библиотеки».

Она со скрипом поступила на филфак, а я, в ожидании визы, подрабатывал статистом при киностудии. Платили мне по два рубля в день, и на предотъездную жизнь мне этого, в общем, хватало.

Правда, картину, в которой я снимался в том сентябре, на экраны так и не выпустили. В ней образ матроса-анархиста — его играл замечательный Зиновий Эрдман — не соответствовал по мнению киноначальства стереотипам соцреализма. Ну не типичен был этот немного застенчивый, прихрамывающий ветеран русско-японской войны Лепешко Семен с библейской грустью в уголках усталых глаз и мягкой полуулыбкой. Не типичен.

Я же изображал одного молодого шпика в массовке. Помню, как чувствовал я большую ответственность и очень из-за этого потел. Ведь это уже не совсем статистом шнырял я в толпе, злобно щурился и поправлял фиалку, торчавшую из моей петлицы. Это уже была известная заявка на характер, это был легкий эскиз образа с нервным, готовым в любой момент сорваться в абстракцию рисунком. Это уже требовало некоторого перевоплощения, хотя и не Бог весть какого: власть о ту пору я совсем не уважал, на идеалы октября клал, как говорится, с прибором, и потому выслеживал революционно-настроенных граждан в ярком свете юпитеров с особым каким-то рвением.

Об этом я и рассказывал Оле однажды вечером, пересыпая свое повествование смешными деталями, которыми не буду сейчас загромождать эти беглые записки. В ответ Оля смеялась звонко-звонко, и смех ее под строгими сводами библиотеки был очень приятен на слух, а ровные крупные зубы белели в наступающих сумерках. Встречались же мы тогда в восемь, максимум полдевятого — я, торопливо смыв грим под краном во дворе, она с любимым «Дон Кихотом» подмышкой. Это тогда я дал ей прозвище «моя ветреная мельница». Не ветряная, а именно ветреная. Я был тогда не дурак покаламбурить, она же не дура была погулять. Да, постоянством будущий филолог Оля, прямо скажем, не отличалась. Не спала она, по словам моего друга Севки, разве что с фонарным столбом. Ну и со мной тоже.

Как ее занесло на филологический — сказать затрудняюсь. С детства она готовилась в актрисы и все кого-то изображала. Естественней других у нее выходила роль соблазнительницы с глазами, улыбкой и особым запахом, исходящим от эпидермиса. Когда она улыбалась какому-нибудь франту при галстукке, в тирольской шляпе и пиджаке с двумя шлицами, он спотыкался на ровном месте, бледнел и начинал молотить сущий вздор. Он называл ее богинечкой розовоперстой, она же в ответ высовывала толстый язык и делала грудью верх-вниз.

О шорохе ее юбки слагали двустушия. Однажды, еще ребенком, ее укусил злой дядька за попку. С тех пор ее так и понесло. Одному юнге из Уругвая она уже в двенадцать пошла навстречу за два пятьдесят и пару колготок. Потом были слезы, аборт, а также мама, сердито лающая.

В школу она приходила раз в неделю, на большую перемену. Старшеклассники любили ее по очереди. Она даже завучу как-то сняла напряжение в живом уголке после урока географии. Завуч, плотный лысеющий мужик с рыбьими

глазами, пыхтел где-то сзади, а она все смотрела на свернувшегося в три погибели дремлющего удава и думала об артисте Д. Банионисе.

К нам на выпускной она явилась почти голой. Причем, все делали вид, что так надо. Она танцевала с молодым преподавателем физкультуры, томно склонив голову ему на плечо и пощипывая его маленькие пунцовые ушки. Мы потухали. Я далеко не Флобер, хотя бы потому, что когда говорю «мы», легко могу перечислить, кто «мы». Потухали: Севка, двое Сашечек-букашечек, Яник-с-яичко, Осик Сипатый и кусающий губы ваш покорный слуга. Мы даже забили на бутылку «чернил» — с кем она будет кормить удава в живом уголке после бала. Тогда, кстати, песней сезона была After The Ball, в которой волоокий Маккартни надрылся в темпе блюза:

After the ball, after the ball,  
You were the one, out in the hall  
You were the one, the one who would loved me,  
After the Ball.

Или как Севка с Осиком ее в тот же вечер переиначили: «После бала, после бала, физруку опять давала, он тебя через «козла»...» ну, и так далее, в том же духе.

Севка, к слову, неплохо знал их семью — дед у них был военным, дядя — какой-то шишкой в министерстве в Киеве, отец плавал, мать спекулировала. Жили они на Среднефонтанской в двухэтажном особняке. Севка заходил к ним иногда, пытался подтянуть ее по алгебре, причем, садился он всегда по другую сторону стола, чтобы голова не так кружилась от запаха ее волос. Самое смешное, а тогда ему было не до смеха, она и под столом умудрялась достать его ногой и там творить с ним нечто далеко не алгебраическое. Скорее, акробатическое. Не хочется

снижать тон, не хочется сбиваться на дешевые остроты, но я себе не прощу, если, пользуясь случаем, не вставлю буквально два слова о ее ногах.

Нет, это были не просто ноги. Это были дивные ноги. Длинные и стройные ноги. Это были ноги, созданные вовсе не для ходьбы, бега или, скажем, прыжков в длину, но для абсолютного покоя, прогулок в мире идей, самосозерцания и любви вечной. О, эти колени, эти икры, эти лодыжки, эти розовые пятки, даже зимой пахнущие песком во время прибоя, я вижу вас, будто расстался с вами только вчера во второй половине дня!

Филолог Оля, скажи, почему на мои чувства ты отвечала кому-то другому? Нехорошая, растолкуй, зачем, когда я, кончив цитировать Бальмонта, лез тискаться к тебе в общественных местах, ты била меня, негодница, Сервантесом прямо по яйцам, после чего я, растеряв остатки красноречия и согнувшись пополам, со слезами на глазах выдавливал из себя жалкое: «всё, ай! больше не буду, ну, больно же, ах ты сука малая»?..

Все эти картинки весны моей половой зрелости настолько порой теряют ясность очертаний, что так и тянет обернуться в темноте к источнику луча, в котором над нами пляшут мириады пылинок, а из них сотканы и Оленька, поправляющая бретельки и челку, и я с романом бессмертного испанца между ногами, и бульвар, весь в окурках и голубином помете, — так вот, говорю, до чего хочется иной раз обернуться и бросить в сердца в ничто: «Эй, сапожник! Резкость!». Но боишься нарваться...

А с Оленькой мы, наспех примирившись после обычной нашей схватки, сидим в кинотеатре повторного фильма им. Маяковского. Она жует трубочку с заварным кремом, я пытаюсь разобраться в происходящем — мы немного опоздали. Вроде, по войну. Ну и про любовь тоже, как же без этого?

На трибуне известный актер в роли агитатора. «Серьезней, граждане, многозначительней. Хмурьтесь, — призывает, — как в трагедии «Б. Годунов» в свое время хмурились предки наши с котомками». А с места ему: «На кого работаешь, падло?». Хотя по виду — явно не тот падло, а этот. А агитатор степенно так: «Ни на кого, браток, в том-то и беда вся. Хотел на себя, но платить себе не могу — и так на жизнь не хватает». Хотя по лицу понимаем — врет, шельма, хватает. Тут как грянули смычковые, невеста как разошлась, раздумянулась, в пляс пустилась, и вдруг давай блевать! Аж всего свекра забрызгала. От корова: грудь ей стеснило, слезы туманят взор, ротик прелестный ручкою прикрывает — не хочет прилюдно ударить лицом в барабан. А тут и доярка товаркам пошла плакаться-причитать: «Ох, бабоньки тошно, ох, тошно! Мужички все до единого на фронте, холодильник, как на грех, накрылся, а чинить-то некому, кругом такая черствость, плесень и, это, ну в общем, отсутствие элементарного человеческого органа. Ох, истосковалась я, ох, иссохлась, ох, жду весны, аж не дождуся ее. Весной, слышать, большой начальник из центра пожалует, запрет на ручную стирку сымет. Я, дура старая, и то стала ногти стричь — готовиться...».

Тут пленка рвется, свет включают, народ безмолвствует, Оленька спит на моем плече, губки ее перепачканы кремом. Я не удерживаюсь и слизываю его торопливо. Она открывает глаза и, сонно улыбаясь, шепчет: «Вот глупое кино. Пойдем-ка лучше в сад».

Конечно, Оля, лучше в сад. Ах, сад! Как я люблю гулять в тени твоих аллей, ноздрей вдыхая твой полураспад! Вот как у меня тут даже в рифму на радостях получилось. Итак, осень, конец сентября, где-то вдали поет певица Кристаллинская, мы внимаем, полусмежив веки. Скамейки все одной изрезаны непристойностями... И вдруг: что это? сон? явь? Филолог Оля улыбается мне в темноте, расстегивает две верхние пуговицы желтой приталенной рубашки и смот-

рит на меня своими чудными глазами. «Ну? А дальше что?» — говорит не то она, не то ее взгляд, не то...

Ну, что дальше? Дальше губы оказались мягкими. Господи, где же это все сейчас? В памяти или еще где? Сколько ей тогда было? На ощупь — не многим больше, чем мне. Семнадцать. Прекрасный, пахучий возраст. Ну, там бюстгальтер, все дела, попка. Зубы выпадают, а я всё еще помню и ее, и суховей, и тот шпагат на шершавой скамье в горсаду под каштаном... Занозы в попе не забылись. Филолог Оля, где же ты есть в настоящий момент? Моя ветреная мельница, моя прекрасная Дульсинея?

Мы с ней протрахались весь октябрь и половину ноября того предотъездного года. Дед Эмма очень волновался, что все это некстати, что нам еще в Киев за выписками, в Москву за визами, а паковать, а прощаться... А я смотрел на деда с блаженной, 9 на 12 улыбкой, и думал: «Ну, на фига я уезжаю от нее?».

Я даже не помню, как мы расстались. Как той (или другой?) ночью стояли у окна — помню. Как за окном пыль садилась, и сутулые люди в кепках, переругиваясь, запирали квасные ларьки на ночь — тоже. И еще помню, что на вокзал провожать она меня не пришла.

А вот еще запись из дневника, который я вел той осенью:

«Есть вещи, о которых лучше не говорить и не думать. На сладкое была она сама. Теплая, потная, сладкая, глаза-стая. Умру, но лучше не найду, думалось.

Монетку кладешь на рельсы, вы меня слушаете? Грохнет по рельсам восемнадцатый трамвай, вам слышно отсюда? Подходишь к рельсам, насвистывая. Нагибаешься с напускным равнодушием. Смотришь. Монетка на рельсах длинная, расплющенная, горячая. Не монетка уже, а так — одно название».

*(Из повести «Операция "Бассейн с подогревом"».)*

1997

## ОДИН ДЕД, ДВЕ СУДЬБЫ

### 1

Уверена, что некоторых из моих новых читателей — старая гвардия к недосказанностям моим попривыкла — заинтересует именно в этом месте следующий подкожный вопрос: кем был мой дед до октябрьской революции. Кем был, кем слыл... Будто все на свете упирается в род занятий господина Бинденмана до большевистского переворота, когда эти преступники, эти мерзавцы взяли в свои грязные руки все, что плохо лежит, плюс фабрики и заводы.

Не все на свете упирается в это, но многое, очень многое упирается в это.

Ну что ж. Вот вам ответ в виде легкой головоломки:

1. Бумазея — 4 аршина.
2. Коленкор — 3 аршина.
3. Атлас — по обстоятельствам.
4. Сукно (хорошее) — 3 аршина.

Совершенно верно, мой дедушка до революции был портным, имел ателье на Ланжероновской, неплохо зарабатывал. Будни портного хорошо известны: примерки, бесконечные претензии заказчиков, пальто перелицевать сыну городского (бесплатно). Я и после революции, когда власть в городе переходила из рук в руки чаще, чем часы на Николаевском бульваре играли «Боже, царя храни», стеснялась дедушкиного ремесла. Не столько стеснялась,

сколько боялась: с одной стороны, зарабатывает старик своими руками, с другой — собственник. Иди доказывай этим головорезам, что очень мелкий и полуслепой, они же не окулисты, они звери.

Поэтому, когда дедушку арестовали и долгое время не отпускали, я не находила себе места. Мне шел девятый год, но я видела бабушкины слезы, слышала разговоры отца с соседом-следователем и понимала, что в семье несчастье. Дедушку в конце концов отпустили, на него было жалко смотреть, особенно когда он узнал, что ателье успели национализировать, то есть попросту отобрали то, что кормило его, жену и пятерых детей, точнее, четверых, самый старший, дядя Матвей, не вернулся с германского фронта.

Что есть человек? Игрушка в руках Фортуны или же хозяин положения, пусть ахового порой, но вершитель собственной судьбы? И то, и другое, и третье. Когда мы поняли, что лучше не будет, а будет только хуже, причем не кому-то, а именно нам, мы собрались за три недели, сели на пароход и через месяц были уже в Америке. Тут нас встретил младший брат дедушки, он бежал из России еще во время кишиневских погромов. Я, конечно, никогда его не видела, но глядел он самым настоящим американцем: говорил по-английски, курил вонючую сигару и очень громко сморкался. У него было свое дело: цветочный магазин на Деланси. Он называл меня бойчиком (меня многие принимали за мальчишку), часто к месту и не к месту похлопывал по попе и обещал сделать главной рассыльной. Я счастливо улыбалась. Перспектива в десять лет самостоятельно зарабатывать на жизнь была мне по душе.

И все, казалось бы, складывалось благополучно, если бы неожиданно дедушка не приказал долго жить. Сделал он это элегантно, как и все, что делал.

Наши покумекали и постановили: снять с дедовой шеи камень, выудить из глаза бельмо, дать бутыль самогонки, пусть шипит, если в горле такая Сахара. И то: шесть лет по лагерям, шесть по исправительным колониям, два года в спецназе, трудодни, один на один с вечной мерзлотой. Окно завесили, солнцу не проникнуть, крысы по углам — вот и вся недолга.

Дед прищурился, бо много на своем веку повидал, даром что близорукой, на перешейках судьбы-индейки, на склоне лет особливо, но не сугубо: человек стал что кал для него, раз вступил, а вонища! Но жену не забыл. Тело не забыл, душу, живот, титьки обвислые, зад, истосковавшийся по Мухиной. Она ему и Володьку родила, и близняшек, Боруха с Нинкой. Из-за Боруха и замели. Имя подвоняло, не наше оно, иди с таким лучше построй нам, чем без дела сидеть, водохранилище какое имени отца народов или ГЭС, чтоб всем светло было, киловаттно. Дед работник был тот еще, утонул с понтом на стройке, вертухаи обосрались, он хитрован был, разрушил глаз специальной кислотой-настойкой, только чтоб отлынивать, дезертирствуя, только чтоб баклуши это самое. В лазарете прижил ребенка с одной, она всем почти давала, покладистая пава, но дед знал, что от него — старый пень любил детей, любил манькаться с ними, игрушки им из козявок лепить. Я не помню его почти, только и знаю о нем, что рассказала американская тетя Эстер.

2001

## ОГНИВО-76

— Прошлым летом, после концерта Дина Рида, — не оставлял надежды завладеть вниманием праздничного стола веснушчатый толстяк с тяжелыми веками, которого все звали папа Хем, хотя настоящее его имя было Серега Криворучко, — я проник за кулисы «Зеленого театра», всучил менту трешку — причем, легко могли повязать...

— Хем, бикицер, так мы Новый год с твоим Ридом проср...очим, — сказал Андрей Фазамахер и попросил Родю передать на его край стола «Московскую».

— Не бойсь, в Америку свалить успеешь, дважды предатель народа, — буркнул папа Хем. — Так вот, постучался в уборную Дина Рида и попросил у него автограф. Ну?

Реакции, кроме вопроса Андрея: «Почему дважды?», — не последовало.

Родя что-то шептал на ухо Светочке, рыжеволосой девушке в юбке с лепестками.

Раздался двойной звонок в дверь.

— И? — спросила Светочка, резво вскакивая из-за стола. — Дал? Не дал? Дал?

— Мало того, — самодовольно улыбнулся папа Хем. — Подписал гитару.

— Врешь! — на всякий случай сказал Родя.

— С собой струмент захватил.

— На английском? — спросил Родя.

— На парагамайском, — сострил папа Хем. — А на каком? Он же ж американец.

— Я слышал, он в ГДР живет, — сказал Илюша. — Такой Элвис для стран Варшавского договора.

— Ну и что с того? Родной-то у него все равно английский!

— А что он написал, ты разобрал хоть? — ехидно спросил Андрей. — Ты ж в английском у нас не копенгаген.

— Перевели, — сказал папа Хем. — Не переживай, дорогой.

В коридоре раздался смех, и Светочка втолкнула новую гостью в комнату, одновременно вырывая у нее из рук дубленку и торт «Наполеон» домашнего приготовления.

— Знакомьтесь, кто не знает, — сказала Светочка. — моя подруга Альбина.

— Для тебя привели, — шепнул Родя, но так, козел, чтоб всем слышно было.

Пока Илюша возился с «оливье», которым от перенапряжения успел заляпать новую рубашку с синими божьями коровками по желтому полю, Альбину уже подсаживали к нему.

Альбина оказалась рослой девушкой с высокой грудью и обнаженными покатыми плечами. Ее каштановые волосы были пострижены в новомодном стиле «сассун», а зазор между голенищами кремовых сапог и мини-юбкой из синего бархата завораживал.

— И впрямь снегурка, — решил стремительно теряющий трезвость мысли Илюша и хотел было пригласить красавицу на медленный танец. Но опоздал — под нечто сиропистое в исполнении Демиса Руссоса ее уже прижимал к себе шустряк Фазамахер.

До Нового года оставалось всего ничего.

— Ну что, дети мои, быстренько наполним бокалы и проводим старый год как положено?! — воскликнул Андрей Фазамахер, отрываясь от девушки. Старшим в компании был папа Хем, но функции тамады взял на себя Андрей.

— Потому что кто знает, где нам предстоит провести год грядущий, да? — тонко улыбнулся Родя, вынимая язык изо рта разомлевшей у него на коленях Светочки.

— Ну почему же? — отозвалась Альбина. — Я знаю.

— Где же? — спросил Родя, прикуривая от свечи.

— Нельзя, придурок! — суеверная Светочка стукнула его по руке, да так сильно, что он выронил сигарету и чуть не прожег скатерть. — Плохая примета!

— Только без рук, — полез Родя под стол за сигаретой. — И без выражений.

— В анатомичке, — звонко ответила Альбина.

— Не лежа, хочю надеяться, — заметил папа Хем. — Вы так еще молоды!

— И хороши собой, — вставил Родя, выныривая из-под стола и снова усаживая Светочку к себе на колени.

— Зачем лежа, — сделала неуклюжий реверанс Альбина и направилась к столу за бокалом. — Стоя. В медучилище поступаю.

— За старый год! — поднял бокал Илюша. — Чтобы все хорошее, что было в нем — и все такое. А все плохое — и так далее!

— Коротко и ясно, — буркнул Родя, уткнувшись в Светочкину шею. — Правда, непонятно кому.

Стали чокаться.

— Я тоже знаю, что буду делать в наступающем, — сказал Родя, осушив бокал.

— Например? — спросила Альбина.

— Жить-поживать, язву желудка наживать. У нас в Новосибирском строительном с питанием хреновато. В котлеты попадает до смешного мало мяса.

— Я в Америку еду, — сказал Андрей Фазмахер, — например.

— Ты как-то с вызовом говоришь это, — заметил Родя. — Гордишься?

— Как иначе? — хмыкнул Андрей. — Без вызова ж не пустят.

— Вот все валят, а я не хаваю, — вмешался в беседу папа Хем. — Если там всё полный атас, и уровень жизни зашибись, почему всю дорогу грустно этому чуваку, ну который «Над пропастью во ржи»? И почему застрелился Хемингуэй?

— Ружье чистил кумир твой брадатый, — ответил Андрей. — Писали же.

— Лучше б он сапоги чистил, — вставила Светочка.

— А ты, парень, именно веришь всему, что пишут? — сказал папа Хем.

— Несчастный случай, — отозвался Илюша.

— Ага, нашли поцов верить, — лез на рожон папа Хем.

— Тема не для Нового года, — сказала Альбина.

— А что для Нового года тема, девушка? — спросил папа Хем.

— У баушки покойной, помню, ма-аенький челнобуый телевизор был, — неожиданно засюсюкала Светочка, разряжая обстановку. — А баушка покойная из него цветной делала народными средствами. Пленку на экран натягивала тлехцветную. И эта же пленка изображение увеличивала. Я ма-аенькая была, но я всё-всё помню. Как сейчас.

— Такой гондон для телегладачей близолуконых, а? — предположил Родя.

— Дубина, — нежно сказала Светочка.

Меж тем телекуранты на Спасской башне вызванивали мелодию, в которой не сразу, но все же угадывался гимн Союза Советских Социалистических Республик. Не зря, стало быть, старик-часовщик полвека назад парился.

— С Новым годом, товагищи!! — а теперь почему-то картаво заорала и запрыгала перебравшая Светочка, заглушая гостей и диктора Балашова. После чего она молниеносно вырубилась, врубила Band On The Run Пола Маккартни и снова запрыгала.

— Вот это уже ближе к телу, — пустился в пляс Родя рядом с девушкой, норовя ухватить ее за скачущий бюст.

— Дурак, не твое, не мацай! — отбивалась она, гогоча.

— Дело времени, — не сдавался Родя.

— Музыка там херовая, — продолжал папа Хем, наворачивая «оливье». — Я уже не говорю, что населяют Америку люди с песьими головами.

— Фигня, — отозвался Илюша. — У меня дед только оттуда.

— И что дед? — оживился папа Хем.

— И ничего дед, — сообразил Илюша, что толстяка он видит впервые, и осторожность в беседе не помешает. — Музыка там не такая херовая. Но в Англии, конечно, клевей.

— Дед твой именно торчит на хеви-металл?

— Шуткуешь, хлопец? Нет, но он привез для брата диски: Криденс, Саймон и Гарфанкел... Клевые.

Тем временем Родя увлек Светочку на диван в угол комнаты, где он решил сосредоточиться на лифчике хозяйки. С овладав после нескольких фальстартов с застежкой, он был приятно удивлен открывшейся его взору перспективе и принялся лизать соски девушки, большие, как глаза даже не первой, а второй собаки, стерегущей огниво в одноименной сказке Г.-Х. Андерсена. Но как только раздухарившийся Родя, изловчившись, направил руку под Светочкину юбку, она одернула кавалера: «По ушам захотел? По ушам у меня и получишь. Легко!». И Родя, не до конца понимая, фигура ли это речи, или Светочка вправду была готова затеять с ним новогоднюю потасовку, решил оставить поиск огнива хозяйки до следующего удобного случая.

— Дед месяц гостил в Америке, — осторожно прижимая Альбину в танце, рассказывал Илюша. — Летел через Москву, остановился в «России», вышел пройтись провет-

риться. Возвращается в номер, а в номере дядечка в штатском наблюдает, как на Красной площади маршала Еременко хоронят. В бинокль. Народу тьма. Серый день. Этажная с горничной вбегают, в мыле, извиняются, предупредить не успели... И это деда напрягло. Особенно после Америки. Из гостиницы-то на Красную площадь сто окон выходит. Это что ж, в каждом окне гебешник с биноклем сидит? Может, поэтому в русском нет слова «прайваси»? Потому что понятия нет такого? Потому что в любой момент могут войти в номер, без стука, и не только в номер, и не только войти...

— И не только без стука, — подхватила Альбина, едва заметно кивнув в сторону папы Хема, и добавила шепотом: — Еще в русском нет слова «петтинг».

— А это что такое? — спросил Илюша.

Альбина объяснила. И проиллюстрировала под медленную песню *Let Me Roll It* («My heart is like a wheel», — надрывался Маккартни, с переменным успехом подражая Леннону периода *scream therapy*). И продолжила на кухне. А затем в Светочкиной спальне. И для Илюши приоткрылся смысл не только непереводаемого на русский «петтинга» и идиоматического «пол-Федора» (на целого, по словам Альбины, мог претендовать только ее будущий муж), но и другие таинства, о существовании которых до новогодней ночи он имел лишь самое смутное представление.

\* \* \*

— Как ты думаешь, она блядь или раскрепощенная женщина? — спрашивал он у Роди через несколько дней.

— Смотря куда, — отвечал Родя. — Если в рот берет — значит блядь. А если пальцами разрешает — раскрепощенная.

— Да ну тебя, — обиделся Илюша. — Тебе бы всё смехуечки да пиздохахоньки.

— А ты вместо дебильных загадок лучше взял бы и пригласил девушку в кино на кинокомедию «Невероятные приключения итальянцев в России» совместного итало-советского производства, с Андреем Мироновым в главной роли, — посоветовал Родя, и присовокупив загадочное: «Все зависит от системы отсчета от нуля», — отбыл в Новосибирск навстречу сопротивлению материалов и котлетам, в которых не ночевало мясо.

Так Илюша стал встречаться с раскрепощенной Альбиной Кобчик.

\* \* \*

И фланировал с ней по бульвару, от памятника к фуникулеру и назад, к памятнику, и в горсаду у фонтана с разноцветной подсветкой ждал, когда в опустившейся тьме до скамейки долетать станут брызги, от которых щеки делались мокрые, будто от слез. В кинотеатре открытого типа перед сеансом играл оркестр и продавались трубочки с заварным кремом и пирожные «картошка». Провожал после кино домой, вспоминал, как в детстве без ума был от соков. В «Кулинарии», над которой обитал с мамой, папой и бабушкой в единственной комнате с высоким потолком и полуовальным балконом, соки отпускались в стеклянных перевернутых конусах: красном и желтом. Любил вкус томатного и грубую, мелко-бугорчатую его консистенцию. Не пил — полужевал-полупил большими глотками из стакана, куда добавлялась щепотка соли. Но и к яблочному проявлял равнодушие. Иногда возникал третий конус — виноградный. Вкус его представлял сложность: с одной стороны, наличествовали известные ожидания от винограда, с другой, сок не всегда им отвечал. Но это мелочь; главное — чтоб стакан граненый. На балконе держали грец-

кие орехи, к концу дачного сезона их набиралось два мешка. Закрыв глаза, кидал орехи в прохожих, не кидал — выпускал, как воробышка, распрямляя ладонь, и тут же прятался, приседал. Заслышав внизу сердитый голос живой мишени, вбегал в комнату, втянув голову в плечи, забивался за сервант. Думал, если спрячется, не было проступка. Нет ореха — нет и огреха. Орехи, не угодившие в прохожих, расшибались об асфальт перед входом в кулинарию. Жмурки со случаем. Картину у Фазамахера смешно назвал однажды зимой, когда башмаки снимал в коридоре. На картине пейзаж, облака, возможно, прибой, не исключено, что степь: «Урки играют в жмурки». А где же, собственно, урки? Спрятались урки. «Со мной было нечто похожее, — сказала Альбина, оценив шутку про жмурки на крепкую четверку. — На балконе, на Гаванной, молоко однажды пила из бутылки. Бутылка из мокрых рук выскользнула — и литровым снарядом вниз. Внизу пацан на меня зырится. Шарахнулся в сторону. И вовремя. Бутылка — ба-бах — и вдребезги. Он в молоке, но мог быть и в крови с молоком, легко». — «Это был я», — сказал Илюша. «Ага. Или я — сама на себя загляделась, — предположила Альбина и продолжила: — Тем же летом, летом Спасского-Фишера, на время ремонта переехали к деду. Дед сходу заявил: больше двух партий в день не играем — не проси. И не просила. Но когда результат был ничейным, играли третью. Дед говорил: если Альба в свои четырнадцать может поставить мне мат, значит, девочка не без способностей, далеко пойдет. Но в каком направлении? В репертуаре деда было две песни: «Та-ак, сеют мак, и вырастает кабак» — непонятно о чем. О превратностях сельского хозяйства? Жизни как таковой? И еще одна, исполнявшаяся перед школой противным голосом: «Вставай, поднимайся, рабочий народ!». И терся дед при этом спиной о теплую, облицованную кафелем печь, как кот из детской сказки или соседский кот, проникавший

в гостиную вместе с дворником дядей Егором в телогрейке на голое тело, от которой пахло спиртом. Дядя Егор поздравлял нас с таинственными христианскими праздниками и троекратно, широким жестом разбрасывал по гостиной какие-то семена. Их потом выковыривали из сахарницы, находили в шлепанцах. А зимой, сделав после обеда глоток вишневой настойки, дед показывал смуглый кулак у окна, выходящего в заснеженный двор: «Видишь, размер весьма средний. Но этим кулаком я могу сделать больно любому, кто захочет со мной иметь дело». На зиму окна между рамами прокладывали ватой... Но это всё детали, обряды, игры детства золотого, — неожиданно заключила Альбина. — А на вселенском уровне кто-то, как всегда, пиздил кого-то по-взрослому. Так что все оставалось в рамках чьих-то ожиданий, прогнозов, предсказаний. Бабки-цыганки моей, как минимум. Она у меня и воевала, и приличный срок отмотала. И выйдя, устроилась ответственной по тaborу за воспитание краденых детей и противопожарную безопасность. Чем не подспорье для прорицательницы на пенсии?».

*(Из романа «В пятьсот веселом эшелоне».)*

2015

## ОДНОКЛАССНИКИ

(Набросок)

*Ах, как празднично и театрально все, вы не находите? Ах, как весело и изысканно, и ресторанно, и дорогие сигареты, и духи. А друзья, они те же, ну, может, чуть старше и полнее, но такие же лысые и доброжелательные. У нас рано и красиво лысеют. И только знакомясь с детьми на сносях, понимаешь, что пропустил свадьбу. Забыли пригласить, или был в отъезде, не суть важно.*

*Тискал чью-то супругу в танце и почти не жалел, что не моя. Жестикулируя, рассказал два анекдота с намеками: вместо хуя — тубетейка, вместо секса — бег с препятствиями.*

— Эх, итить твою мать налево, — захандрил холерик Вовчик, нестарый еще холостяк с лысиной в полчерепа, а что делать? Пересадку? Кепочку в клеточку носить? Не смешно. Когда-то он жил напротив склада Театра оперы и балета. Чем отличалась «Жизель» от «Лебединого» в те безоблачные по теперешним меркам времена? Флорой фанерной. А в «Докторе Айболите» пальмы превалировали. В которых хворые обезьянки ховались, хвосты поджав.

Иногда Вовчик Дергач (или, по-здешнему, Вальтер Дуглас) размышлял, потягивая пиво «Beck's» на крыльце своего дома в Сан-Франциско: пары, о которых ни слуху, интересно, они вместе еще?

Оказалось, кто как. С одной он даже списался на «Одноклассниках» — чем черт не шутит.

И ребенок не от того, и каблуки стерты. Но прическа и маникюр на месте.

— Помню, в детстве, — сказал он и коснулся ее руки в аэропорту Хитроу, — у меня украли шапку. «Позови тако-го-то, — попросили. — И расстегнись, будто ты отсюда». Я вникать не стал, послушался. И сорвали шапку, в моем же подъезде сорвали! А шапка деда была, рыжая, пыжиковая, теплая.

С ней он учился когда-то. Однажды остались дежурить, и он, случайно или в шутку, легонько стукнул ее веником по голове. Она разозлилась, обозвала жидовской мордой. С тех пор все пошло-поехало.

— Что это ты не «зеркало» говоришь, а «зэркало», как еврей? — спросила его соседка по парте Лилька Ковыль.

— Мальчик, а ты не еврей, случайно? — склонились над ним две студентки во время белых ночей. Что там у В.В. Набокова связано с городом на Неве, он не знал. У него к Ленинграду прочно привязался смех двух симпатичных антисемиток на гранитной набережной...

И они отправились на юг Европы. В пути им повстречался персональный пенсионер из ближнего зарубежья по имени Юстас.

— Солженицын сейчас в полном порядке, — делился Юстас последними новостями из метрополии. — Таковую виллу себе отгрочал — Путин отдыхает.

По вечерам на ветру хлопали ставни, и у бассейна грязно ругались девушки-мотоциклистки. Дождавшись темноты, он осторожно раздвигал ее полные ноги, протискивал нетвердый член в норовистое влагалище, а рукой ритмично давил на грудь. Бывшая звеньевая Сигалова тихо стонала сквозь зубы.

Ночью на балконе напротив вспыхивал огонек, и он знал: там сидит одинокий курильщик Юстас и отгоняет комаров.

2007

## НА ВОЛГЕ

Лицо моего приятеля и дальнего родственника Льва Борисовича? Ну, разве что верхняя часть его: невысокий лоб, тонкие, сросшиеся на переносице брови, немного рассеянный взгляд, всматривающийся в уже тронутый желтизной левый берег Волги. Нижняя часть лица запомнилась хуже: дрожащий ли от наплыва чувств подбородок, легкая ли усмешка чувственных губ? Боюсь соврать.

Сразу же после кризиса он, по настоянию друзей, отправился в восьмидневный круиз до Нижнего: посмотри, на кого ты похож, отдых на судах речного флота — залог здоровья и хорошего настроения, нашел из-за чего в петлю лезть, а закаты, закаты там какие! Но миновали Степаново, и уверенность в правильности сделанного выбора сама собой сменилась неуверенностью в правильности сделанного выбора: холодно на реке. Однако об уверенности в неправильности сделанного выбора говорить было пока рано, и он усилием воли подавил в себе желание попроситься на втором шлюзе на берег и вернуться электричкой в Москву. «Подожди, милый, до Углича», — сказал ему ласково внутренний голос, и, вопреки своему обыкновению, Лев Борисович внял ему.

На главной палубе демонстрируют глупую французскую кинокомедию. За сюжетом следить претит. И это все, что Волга заслужила у нации, давшей миру Новую Волну?

Первую половину отпуска Лев Борисович провел у тетки в Одессе. Там ему попались на глаза: дом, где прошло его детство, бабочка капустница и насекомое «солдатик». При виде последнего он обомлел. «Солдатики» он не видел лет восемнадцать.

— Не понимаю, — говорил он старушке, глядя с балкона на новобранцев, марширующих под желто-голубым флагом, — почему «Госпожа Бовари» Шаброля прошла в Европе и Америке практически незамеченной, несмотря на блестящую актерскую работу Юппер, в то время как «Госпожу Бовари» Сокурова почему-то признали вехой. Ну почему?

Внизу во дворе бегали дворняги, на асфальте сидел крупный мужчина с неопрятной бородой. Он что-то кричал своей жене, высунувшейся из окна первого этажа.

— Если это веха, — говорил Лев Борисович старушке, — зачем тогда жить, мучиться, страдать, любить, наконец?

— Жениться тебе надо, Левушка, — отвечала ему тетка. В дорогу дала она ему банку варенья из айвы.

По возвращении в столицу Лев Борисович Нечитайло, работавший, кстати, бухгалтером в журнале «Искусство кино», купил батон за сто сорок рублей, сливочное масло за четыреста, потом дома, сев на табурет на кухне, осторожно соорудил пять бутербродов с маслом и вареньем и съел их один за другим. Затем он смахнул с пиджака крошки хлеба, достал из ящика кухонного стола толстую веревку, сделал из нее петлю, выпил всю заварку прямо из чайничка, чтобы приободриться напоследок, потом отнес табурет в гостиную, тяжело дыша, взобрался на него, перекинул веревку через крюк для люстры — люстру у него украли еще в 89-м году — просунул голову в петлю, затянул петлю потуже и оттолкнул ногой табурет. Табурет угодил в сервант. На шум разбитого стекла сбежались соседи. Вызвали милицию. А надо бы «скорую».

— Ну, это еще не депрессия, — сказал милиционеру Лев Борисович, вылезая из петли, а потом добавил: —

Madam Bovary — c'est moi, — и попросил милиционера внести эти показания в протокол. Так последний и поступил, а затем резким ударом ребра ладони по шее успокоил неожиданно бросившегося на него с кулаками горе-самоубийцу.

— Merde! — воскликнул Лев Борисович и, присев на корточки, заплакал от стыда, боли, унижения, бессилия, ощущения безысходности и еще Бог знает по каким причинам. На этом с ним можно было бы и распрощаться, наверное, но от себя хотелось бы добавить буквально два слова о его путешествии по Волге.

Оказавшись в каюте 3-го класса, он мигом доел тетино варенье из айвы, и растянувшись на койке, подумал, что в каюте значительно теплее, чем на палубе. Потом он принялся философствовать.

«Как организм реагирует на внешние раздражители? — думал Лев Борисович. — Очень просто: когда как. Когда сужаются зрачки, когда учащенно бьется сердце, когда приливает кровь неудобно даже сказать куда». И тут наш герой отчетливо ощутил, что был он счастлив. Причем, счастлив каждый день своей жизни. Даже, как это ни странно, когда в петлю лез.

Что, в сущности, нужно человеку? Всего ничего. Два-три шлюза. Город детства, откуда все, кроме тети, разъехались кто куда, однако на бульваре бабочки по-прежнему порхают, как ни в чем не бывало, «солдатики» ползают, а голуби поднимаются в воздух с резиновым каким-то звуком — его на бумаге и не изобразишь толком.

«Если все несчастья от головы, — думал Лев Борисович, — то и счастье тоже, наверное. Ему, оказывается, можно научиться». Правда, лично он ухлопал на это дело полжизни, но полжизни — это ведь еще не срок. Это ведь только полсрока.

Скоро Углич, и уверенность в правильности сделанного выбора сама собой сменилась уверенностью в отсутствии необходимости делать выбор вообще за неимением последнего в природе. «Да — громоздко, да — канцеляризм, но зато правильно», — решил Лев Борисович.

На обед в ресторане на главной палубе подавали: щи, котлетку с рисом и компот из сухофруктов. Лев Борисович был счастлив.

*1993*

## ЛЕТОМ НА ДАЧЕ

Одно потянет за собой артачащееся другое, а иначе и не бывает оно, так много лет спустя сидящему путнику, вернувшемуся восвояси, — а там и пусто, и только бродят среди старых голых лип табунчики беременных кошек — обернется скатертью-самобранкой живых картин несовершенного прошлого обычный, грубой работы сервант или того хуже — стол, за которым сживало летними вечерами целое семейство: совсем еще юный путник, его отец, только-только с работы, пропахший пылью и помидорами, готовые внимать историям отца о производственных битвах родственники жены — благодарные слушатели, поддакивающие особенно ретиво, особенно после второй, тем паче, что жаркое сегодня вышло мировое, чудо что за жаркое, а все потому, что казан волшебный и мясо не прилипает и не пригорает мясо, в пижамных брюках, светлом пиджаке и парусиновых туфлях, чищенных зубным порошком, разведенным на молоке, не успевший еще переодеться дядя, ему под восемьдесят или за, и он почему-то — хоть убей — не сидит, лысеет — да, но не сидит, и сие есть тайна великая. И мама. Молодая, умная, загорелая, в халате. У мамы отпуск. Мама с утра на пляже, иногда на базаре, а потом на пляже: клубника, черешня, смородина, когда витамины, как не летом, а шелковица у них и так растет. Дяде тоже есть что рассказать, начало месяца, был в городе, одиссея за пенсией, рассказ обстоятельный, подробней, чем у отца, — у отца сезон второй месяц, а у дяди пенсия раз в месяц, трамвай, скандал на конечной, там женщина на задней площадке кричала, что, мол, Гитлера Сан Сергеича

на вас, дармоедов носатых, нету, ну ничего, — отольются мышкам кошкины слюнки. Так навозные мухи за сутки суматошной жизни обрастают липкими крошками, так бегут они карательных мер мухобоек, так чистят спазматические лапки на скатерти — задние, потом передние, потом снова задние, так жужжат они, что твой перпетуум мобиле, у мусорной ямы, там их две, одна возле уборной, и это громко сказано: уборной — халабуды с дырками для большой нужды, а под нею, под халабудой, притаился сам-друг продукт большой нужды и ждет не дожидается randevu с кишкой ассенизатора, а вторая — там, где с утра до вечера глинка-шостакович, там, где дача первой скрипки Давида Батьковича с оттопыренной нижней губой и глазом-стеклярусом, отмеченного синяками, государственной премией и гастрольной поездкой в дружественную Польшу, откуда привез он сервиз на двенадцать персон и шубу из куницы для красавицы-жены Лионеллы, которая бьет его, неблагодарная, смертным боем. Сидит-сидит себе на веранде и вдруг как треснет его по мозгам ни за что, просто, чтоб боялся ее как огня.

Враг моих врагов — мой друг, говорит дедушка, смеется дедушка, плачет недавно овдовевший дедушка и протягивает — тогда еще даже не путнику, а ведущему довольно оседлый образ жизни — молодому человеку плитку шоколада. А в прошлый раз, еще когда с бабушкой приезжал, книгу надписал о шахматах: внуку Виталику, на добрую память, желаю играть лучше дедушки и не хуже Ботвинника, и вы знаете, первое оказалось много легче осуществимо, чем второе.

...И вот, через небольшой промежуток времени туфли эти дядины назовут говноступами и жизнь эту назовут говняной, и хлам этот порекомендуют выкинуть в форточку, которых здесь на западе нет и быть не может, все они на востоке остались. Так куда же это все выкидывать тогда?

Вот вам и вопрос в ответ на другой вопрос, некорректный — восток Россия или запад она, и если восток, то чем же это? Форточками восток Россия, скифские вы морды с раскосыми и жадными до чужого добра глазами; неизбывностью окон восток Россия, открытых на одну восьмую; робостью жеста, двусмысленностью посыла восток Россия: открыть, но ненадолго, захлопнуть, но не до конца.

А сейчас? Жизнь в доме, где поселились сплошные бывшие знаменитости, и даже швейцар, если верить лифтеру, был в свое время фокусником не без имени — это ли не счастье в последней инстанции? Это ли не то, ради чего ехалось и вращалось, терялось и вживалось, это ли не тюрьма народов в одном отдельно взятом, поставленном на попа пенале? И вот, он, лилово-ливрейный, вместо того чтобы помочь с чемоданом из Сен-Барта или пакетами из «Д'Агустино», женщину пополам распилить норовит — и лучшую половину вам всучить. Что ж, с ней так и гулять, так и представлять случайным знакомым: вот она, моя лучшая половина? Как, где вторая? Вторая, та, что похуже, — та дома, с детьми.

*2002*

## КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ БЕЗРУКОГО

Надеюсь, что рассказ этот, равно как и другие мои рассказы, а их у меня по неточным подсчетам уже более пятидесяти, найдет своего читателя. А то фигня какая-то получается. Я, как фраер, это все пишу, а успеха никакого. Для кого же, спрашивается, я все это пишу? Вася бы сказал: для себя. Но я же не Вася, я так не могу. И потому надеюсь, что кто-то это уже читает и ждет, что же будет дальше.

А дальше будет правда о моем друге Васе Безруком, которого знал я как свои пять пальцев.

Не знаю, сможем ли мы, столпившись у смертного одра Безрукого, воскликнуть, подобно Нерону: «Какой великий художник погибает!» — но парня все равно жалко.

Те, кто знал Васины песенки, сейчас поговаривают о преобладании в них дионисийского начала, но так ли это?

Вася не вдруг порвал со своим прошлым заядлого онариста. Связь уплотнения естества с изобразительными искусствами он рано нащупал. Как-то на большой перемене Вася нарисовал голую женщину на двойном листке в клетку и вдруг почувствовал движение плоти: у Васи встал член. А это, как ни крути, было делом рук Васи через посредство искусства.

Как говаривал его репетитор по математике, чем-то напоминавший Васе Сократа, любая собака знает, что такое прямая линия — она по ней бежит, почуяв кусок мяса. И правда: скоро Вася стал обходиться без рисования — путь до естества оказался короче, чем он полагал.

Дрочил Безрукий до конца первого курса с неизменным воодушевлением. А на втором курсе он целых три не-

дели домогался взаимности пышнотелой Лики С. и только к концу сентября, когда их поток вывезли в подшефный совхоз на картошку, Вася, улучив момент, оседлал-таки строптивного комсорга в складском помещении. Это было под Овидиополем. Как они рычали на мешках, как целовались! Результатом этой ночи, полной неги, явился твердый шанкр (Лика клялась, что не от нее; «значит, от картошки», — неуклюже шутил Вася), а также следующая песня, написанная им по возвращении в город:

Расцветают органы внутренней секреции,  
Тонкий запах девушек кажется слышной.  
Вот бы снова оказаться в старой доброй Греции,  
Греться у костра бы там с милою моей.

Легкими копытцами бойко бы отплясывать  
Танец плодородия; в жилах кровь журчит.  
В темных виноградниках будет листья сбрасывать  
ветер. В небе кукутся месяц-инвалид.

На смертном одре Васе вновь почудится тонкий запах комсорга Лики, ее волосатые подмышки, блеск ее удивительных глаз. Они даже чуть было не расписались на третьем курсе, но ее родители и слышать не хотели о зятееврее, да и Васина мама, тетя Циля, была в ужасе от этой «хозерыны» из Первомайска.

Потом Вася на «Боинге» улетел в Америку, чтобы там, по его словам, реализовать свой потенциал, но на второй год их пребывания в Нью-Йорке Васю смертельно ранил ножом в сердце один ненормальный пуэрториканец. Вот нелепая смерть!

В самолете Москва–Нью-Йорк показывали комедию с участием Лайзы Минелли. Вася громко смеялся каждые пять минут, хотя не понимал ни полслова. Но как в этом признаться родным, вложившим в его репетиторов такие

деньги? Васина мама была убеждена, что сын ее знает английский в совершенстве и даже иногда думает на этом языке. «За кого, за кого, а за моего Васю я не волнуюсь, — говорила тетя Циля. — Мой Вася в Америке не пропадет».

Вася и сам был высокого мнения о своих способностях и верил в скорый успех в Новом Свете.

— Мама, — говорил он тете Циле, когда «Боинг» стал идти на посадку. — Чтоб ты знала: историю Соединенных Штатов очень скоро будут делить на два периода: первый — до моего приезда сюда, а второй — уже после.

— Хвастун, — бурчал Васин папа, пристегивая ремень.

Аэропорт Кеннеди сверху показался Васе большой новогодней елкой с великим множеством разноцветных игрушек.

Васе без труда удалось найти работу в Нью-Йорке: он устроился подметать полы на фабрике, где делали бумажную посуду. Тетя Циля скрывала этот факт от знакомых. Ей было неудобно. Она всем говорила, что Вася работает в Организации Объединенных Наций переводчиком.

— Что же он там переводит — слепых через дорогу? — спрашивали ее знакомые.

— Не смешно, — парировала тетя Циля. — Кто вам, интересно, мешал ехать с языком? Вы бы тоже хорошо устроились.

Ночами она плакала, а Вася писал свои стихи. В них по-прежнему преобладало дионисийское начало, но было оно теперь разбавлено не поймешь чем.

Временами он вспоминал о Лике С., о собрании, на котором его исключали из комсомола, а Лика гневно клеймила Безрукого за бесхребетность и требовала впредь проявлять большую бдительность и не принимать в наши ряды тех, кому с нами не по пути. А после собрания, в общаге, вечером, они с Ликой дули «биомицин», балдели на Тухманове и трахались до потери пульса.

На фабрике в Нью-Йорке Васей были довольны. Приходил он на работу вовремя, подметал чисто, с начальством был приветлив, а одна упаковщица-пуэрториканка все время строила ему глазки, обнажая при этом крупные зубы. Как-то раз в пятницу Вася пригласил ее в бар на 36-й и Седьмой.

Они стали встречаться. По-английски Реджина говорила еще хуже Васи, а тщательно выбритый лобок ее украшала татуировка, изображающая распятие. Поначалу Вася принял это за букву «X».

Однажды в субботу утром тетя Циля застала Васю и Реджину вдвоем под душем. Тетя Циля чуть в обморок не упала.

— Вон! — закричала она. — Аут! Но кам бэк!

Девушка неторопливо оделась и ушла, гордо покачиваясь на высоких каблуках.

— Лучше б ты уже на своей хозерыне женился, чем с неграми сношаться, — сказала тетя Циля устало.

— Не выражопывайся, мама, — отвечал Вася из ванной. — Она не негр. Она такая же эмигрантка, как и мы.

И он включил фен, чтобы не слышать мамин голос. Тете Циле сделалось обидно, она села на стул и расплакалась. Она последнее время часто плакала, видимо, что-то предчувствовала.

А после того, как Васю похоронили, Реджина пригласила нас всех к себе в Джексон-Хайтс. Она угощала нас сладким, а потом взяла гитару и спела Васину песню про органы внутренней секреции и про девушек. Пела она на ломаном русском, но не коверкая слов, а просто иногда делая неверные ударения. Например, она пела не «кúксится», а «кукúсйтся» и так далее.

Так Вася Безрукий и не реализовал свой потенциал в Америке, а жаль, потому что парень он был не без способностей. Но знаете, как говорят: не всем нужно ехать.

Гуманитарии должны сидеть на месте. Это людям технического склада ума, с хорошей профессией, инженерам там, или биохимикам, это им надо ехать, потому что им легче будет устроиться, найти себя в новых условиях и впоследствии купить свой дом с участком.

*1992*

## TAKE CARE OF THIS<sup>1</sup>

Я весьма люблю природу и растения, которые в ней находятся, произрастая без перебоев и задних мыслей, а значит, без смерти и страха пред лицом ее, и живность, снующую меж деревьев по глубокому снегу и оставляющую едва распознаваемые следы на нем, ибо все это — тоже природа. У животных нет и намека на память, но можно ли утверждать, что у природы в целом нет памяти? И что есть генетический код, как не формально записанная и передаваемая от колена к колену информация, а значит — память? Тут подумать надо, потрянуть стариной, — мыслилось Сонг-Ялтышеву за год до случившегося. — И, в частности, уяснить, что мы разумеем под природой в целом. И особа осьмнадцати лет, теплой спиной прислонившаяся ко мне, шестнадцатилетнему, на диване, четверть века тому, и пальцы мои, не знающие, где им прекратить беспорядочное движение в трусах у наливающейся весенними соками ночной красавицы, и безошибочно замирающие там, где дальше нужно выписывать специальный пропуск, — все это тоже природа и часть всевышнего замысла.

Если парень фото просит,  
Значит, скоро девку бросит, —

тихо пропела и высунула кончик языка девушка, имени которой не припомнить Сонг-Ялтышеву, четверть века тому, когда он попросил у нее фотокарточку, но фотокар-

---

<sup>1</sup> Здесь (англ.): Смотри, чтоб не пропал.

точку все же вручила. И подписала каллиграфическим почерком. В купальнике, с приземистой соученицей, тоже красавицей, но красавицей растрепанной и толстобедрой, на черноморском побережье, брызги волн в одном углу, дата и место брызг в противоположном. Встречаться нужно, наставляла мама, прикладывая компресс к левой, опухшей стороне лица Сонг-Ялтышева, с девушками из твоего круга, чтобы в чужом не давали тебе в глаз бывшие и настоящие ее воздыхатели. Неужели в институте никто не люб тебе? На вашем потоке столько привлекательных девушек. И умных. Смолкла, вслушиваясь в шепелявый дребезг трофейных часов с позлащенным циферблатом, будто автомат готовился выдать на-гора время, но никак не мог определиться, которое. И не ударили часы. А время, меж тем, близились к обеду. Если честно, не так уж и много, промямлил Сонг-Ялтышев, аккуратно ощупывая ватную щеку.

Все было наперекосак в его техническом ВУЗе! Почему, ну почему, спрашивается, я обязан в этих зеленоватогрязноватых стенах проводить лучшие свои годы? Потому что не взял судьбу за рога, не настоял на гуманитарном образовании? — риторически распаялся Сонг-Ялтышев ввиду стремительно приближающейся зимней сессии. А жаль — не то слово, ведь в шестнадцать хочется выжить, кто есть кто и что есть ты, а тебе вовсе втюхивают экзамен по устройству и обогреву черт-те чего. Или заставляют рассчитывать, как говаривал его страдающий хроническим гайморитом и преждевременно облысевший сокурсник по прозвищу Сопелька, «коэффициент теплоотдачи ебла». (Разумеется, зубоскал Сопелька, на третьем курсе сваливший в Израиль, где безвременно умер от кровоизлияния в мозг за рулем кондиционированного джипа, имел в виду коэффициент теплоотдачи ребра.)

Первокурсник Сонг-Ялтышев провожал домой белокурую веснушчатую девушку одну, со смешными кудряшка-

ми, она в десятом училась и посещала курсы иностранных языков, был май, и отчетливо необходимо вдруг сделалось всё, что во время сессии лишь периодически накатывало и рассредоточивало внимание. Тем более что все уже с кем-то ходили. Например, Санька Сатс в умопомрачительном клетчатом пальто под руку с Диночкой, и перешептывался с ней о чем-то посторонним неуловимом, недоступном, а он ни с кем, и пригласил эту девушку однажды в порт, где недавно починили и снова сдали в эксплуатацию эскалатор. Внизу, где краны Ganz и скрип натянутых канатов, дефилировали, он удачно острил и являл начитанность, потом провожал ее, но ощущение неловкости не оставляло, и предчувствие, что не выгорело и, скорее всего, не выгорит. А чего именно он хотел? Чего, чего. Того. Как человека провожал, далеко, и район малознакомый, туда только довоенный трамвай шел, квадратный, точнее, параллелепipedный, потому что слово длинное, как трамвай, и такое же поскрипывающее на поворотах: пипит-пипит, потому и точнее, таких квадратных и продолговатых в городе всего три оставалось, по дороге анекдот вспомнил, рассказал, раскачиваясь на поручнях, в лицах, приближаясь к ее лицу и от него отдаваясь для пущей комедийности эффекта, и она уже улыбалась подразумеваемой фривольности, и он готов был поклясться, что нечто наклеивается, еще один вспомнить, — и рассмеется в голос, и тогда всё будет проще, но не вспомнил, плохо запоминал анекдоты, свысока смотрел на них, считал консервами остроумия со стершимся сроком годности, предпочитая им свежесть импровизаций и внезапность каламбуров. А когда в самом начале, в первый раз с Санькой Сатсом гуляли и еще с одной, иногородней, и Санька на нее тоже глаз положил, но он положил раньше, и что-то Саньке сказал, что-то выдал абсурдное и смешное, дерзкое, абсурдностью своей резкое, и она, тоже белокурая красавица, громче обычного рассмеялась.

Но он долго не знал, что спросить, как закрепить неожиданный успех. И упустил момент. Минут десять шли молча, бок о бок, наконец выдавил натужное: как вам наш город, красивый, нет? И покраснел. Думал, юмор, а она, скорей всего, решила: идиот. Так она точно не пойдет со мной, предположил и не ошибся. Улицу помнил, камни грубые, платаны, прожилки в листьях, если разглядывать на свет, мужчин в летних брюках, толпы у кинотеатра, белые медицинские весы на бульваре, пломбир в стаканчике, ценителя прекрасного с пробором посередине и лимонного цвета треугольным платочком в наружном кармане импортного пиджака, после премьеры в театре оперетты заметившего вслух: хорошо иногда вот так взять и уйти на время в мир иной... Кажется, и впрямь ушел, но не на время — ранняя жертва эпохи первоначального накопления капитала. За красавчиком на кремовых бразильских платформах каучуковых все бегали, по кустам выслеживали, он склонен к полноте был, страдал одышкой, но чем-то брал, чем-то сугубо мужским, уловляемым ими без промедления, этот Санька Сатс. Отец его, дядя Антон, посетил родственников в Америке, покорила их, и соседей их, и особенно парикмахера Фредди, мастера мужских укладок, южным своим обаянием, привез для Саньки очки, автоматически затемнившие на солнце. Красивые, до сих пор где-то лежат. Потом, правда, барахлить стали: темнели, наоборот, в помещении. Или одно очко темнело, другое сохраняло нежелательную в безоблачные дни прозрачность. Моше Даяном стали дразнить вследствие оптической неуравновешенности. И зеленый след окиси на щеках под тяжелой оправой оставался. Но когда работали без помех, в очках «слезках» этих был он один такой в городе. «Ты в них от японца неотличим», — сообщила ему сокурсница Ксюха после концерта «Песняров» в Зеленом театре и разрешила поцеловать в губы, а после обнять за талию. И пласти-

нок тучу предок привез. Думал Санька, когда заказывал, что рок-н-ролл — он и в Африке рок-н-ролл, оказалось, в Африке, может, да, иди проверь, но не в Америке: субжанров штук десять в музыке насчиталось. Сейчас их, правда, все сто... «Сань, положи The Who на стол!» — крикнул Паша Лемешев на всю стекляшку «Турист» на морвокзале, имея в виду диск, который Санька держал в портфеле в обложке именно от «Песняров», чтоб не «просквозили», а не то, что всем сначала послышалось и чуть позже домыслилось. До сих пор, кто был там и пил портвейн в тот белый зимний день, вспоминают общий хохот и улыбаются выходке. У кого дети замужем, а у кого на подходе внуки. А у кого только эта фраза и сидит в памяти. Не густо? А как вы лично боретесь с забвением? Ненавязчивым юмором? Воспоминаниями о проделках юности в кругу верных друзей? Как кто-то хотел сесть за стол, а из-под него в последний момент стул убрали, вот он и грохнулся? Или беллетризируете прошлое? Работает? Дядя Антон вернулся из-за океана приталенный, расклеванный, в клеевой укладке — ни дать ни взять Энгельберт Хампердинк с обложки пластинки фирмы «Мелодия». Нервным шагом описывал против часовой окружность вокруг суставчатого овала карусели в Домодедово, выуживая предметы неподъемного багажа. «Сань, take care of this», — бросил, раскатывая на заокеанский манер букву «r». И к Санькиному облегчению указал на чемодан, поскольку не до конца понял Санька, что именно от него требовалось на непривычном американском, а вовсе не на британском, который ему преподавали в школе розы александровны, ольги анатольевны, а также людмилы владимировны, дальше Польши за границы не видевшие. И потому настоятельно рекомендующие приобретать в киосках «Союзпечати» учебное пособие — газету компартии Великобритании «The Morning Star», пестрящую бесполезными реалиями и непонятными заголовками. «Курица не птица,

Польша не заграница», — заметил однажды дядя Вахтанг, уставясь на заплутавшую в винограднике соседскую хохлатку, и чуть погодя спросил первоклассника Саньку, что они там на уроках английского уже успели пройти за две недели. Оказалось, успели «как вас зовут?». И как же? «Вот и зёрна», — ответил Санька. «Чудно, — сказал дядя Вахтанг. — Вот я и говорю: птичья мова»... Учебным пособием стали пластинки: диск прокручивался раз десять, пока не зазубривался до последнего слова, последнего запила. Предположить, что Red Rose Speedway Маккартни или Burn «Дип Перпл» могут оказаться альбомами средними или ниже — было бы несусветной ересью. Не догнал — прослушай еще раз. И еще раз. Групп на свете было семь-восемь, альбомов у каждой — пять-шесть, времени была прорва, энтузиазм не знал границ. Но прошла эпоха музыкальной всеядности, как сон, как однажды июльским утром Санька и Паша прошли мимо бабки, совсем дремучей, почти юродивой, не могущей скумекать, хоть стреляй в нее, как с автоматом для газировки взаимодействовать. Стакан граненый дном кверху неумеха в нишу вставила, газировка, фырча, обдала его толстой струей. Благо, без сиропа, но все равно жалко копеечку. И кляня судьбу, воздела горе хрупкие руки своя. Подсказали, намекнули, что невелика беда, спросили остроумцы: а сами откуда, бабушка? Чай, из Негазировки тож?

*(Из повести «Коэффициент теплоотдачи ребра».)*

2013

## ДЛЯ ОТВОДА ГЛАЗ

Саше Ефимову надоело ничегонеделанье, и он принялся выдумывать разные наряды к предстоящему празднику. Ему никто ничего не поручал, инициатива полностью принадлежала ему. Саша сам удивлялся: откуда у него возникли эти фантазмагорические видения из мира, к которому он не имел никакого отношения? Занимался он на четвертом курсе ветеринарного, за модой не просто не следил, старался избегать ее. По мнению сокурсников, был скучноватым хорошистом, застенчивым и заурядным, даже чуть пришибленным сессиями — так, по крайней мере, считали девушки с его потока. И вдруг.

Первое, что пришло ему в голову, было платье цвета бильярдного сукна, к нему полагалась сумка-кий, шляпа с вуалью-лузой, ну, с этим проблем быть не должно было. Проблемы могли возникнуть с туфлями-шарами: шарами-каблуками и шарами-носками. Саша задумался, стал что-то чертить в общей тетради. А что, если...

Платье-стул, со спинкой и четырьмя ножками, две из них женские, две мужские? В платье можно исключительно сидеть, вставать в платье не рекомендуется. К платью прилагается сатиновый плащ-чехол, предохраняющий его от пыли и жирных пятен.

Или костюм-рояль, с педалями, крышкой и нотами. При ходьбе раздается вальс, на поводке — игрушечный шпиц. Или шпиц настоящий.

Сашины идеи очень понравились его сокурсникам и преподавательнице Галине Петровне, с которой у него еще со второго курса сложились доверительные отношения.

Она ему и поведала историю из жизни улиток, о которой чуть позже.

Шляпа караван-сарай, усталые путники пьют рисовую водку, костер выхватывает из темноты их тонкие лица, брючный костюм-колодец, в нем отражается девушка с кормыслом, туфель у нее нет, она из небогатой семьи.

— У улиток, о которых нам известно до смешного мало, — свой язык, своя психология, своя, если угодно, сигнальная система. И система эта — язык клейких веществ. Домики их — это ерунда на постном масле, это всего лишь для отвода глаз, они им абсолютно ни к чему, домики — это фасад лишь один. И вот однажды к нам приехала делегация из Венгрии. Дело, дай Бог память, было в 64-м году. А я тогда заканчивала исторический. Обмен опытом, у них тогда был бум на французскую кухню, эскарго, не маленький, сам понимаешь. Только не лезь, видишь — натерлось.

Юбка цыпленок-табака, накидка соус-ткемали, сумка картофель-фри. Сдачи не надо, это оркестру.

— А мой отец как раз заказал тогда на заводе «Марти» вешалку. Непростая эта была вешалка: это была вешалка-воспоминание, вешалка-фуга, я фигурально, но ты понимаешь. Венгры как увидели ее, — залопотали в один голос: хотим, хотим, шимшимшимша, все, что ни попросишь — отдадим. Даже про улиток своих забыли. Я — ни в какую. Во-первых, не моя вещь — отца, объясняю. А во-вторых, мой младший брат любит на ней сидеть и представлять, что он в пустыне, на верблюде, совершает путешествие, запасы еды крайне ограничены, вот он сидит в темном коридоре, на вешалке, грызет корочку хлеба и думает, как бы не умереть с голоду. Не могу я отобрать у брата его верблюда, его фантазию. Не могу.

Костюм-верблюд, двубортный. Брюки-мираж: кажется — близко город, где напоят и накормят. Но сначала отберут брюки.

— Венгры и говорят (приставучий, доложу я тебе, народ): мы отдадим тебе самое дорогое, что у нас имеется шимшу-шим: старинный рецепт эскарго времен Людовика Великого, этот рецепт даст тебе, Галия (так они меня звали, Галия, да не трогай же, сказала: бо-бо!) бессмертие. Здравствуйте, — я ваша тетя, говорю. — А как я, интересно, проверю, бессмертие оно или что оно? До этого критического момента еще дожить надо. А вешалку вы, небось, сейчас потребуете.

Костюм-женщина, галстук-симптом, брюки-красивые-ноги. Носишь и восторгаешься, носишь и любишь, двигаясь быстрее, чем требуют обстоятельства.

— Тогда глава делегации мне говорит: «Смотри». И достает из портфеля рулон бумаги, разворачивает его, а там, там — улитка в продольном разрезе! Переводчик объясняет, что это всего лишь костюм, костюм-улитка, а я смотрю и слезы у меня на глаза наворачиваются — ведь каждый виток ее домика — это мои, Сашенька, предки, а они-то и воевали, и кровь свою проливали, чтобы нам с тобой жилось хорошо. Вот как сейчас примерно.

Костюм-предок: сделан из имитации рукописей защитного цвета. Туфли-улитки, ходят сами, но медленно, с частыми остановками. И пачкаются.

Тогда-то до меня и дошло, что бессмертие — это не мое бессмертие, Саша, но родовое. Если мой сын или дочь будут жить через 200 лет — в этом и мое бессмертие, Саша. И еще поняла я, что на это родовое бессмертие мне начхать с самой высокой колокольни. Мне мое бессмертие подавай, личное. А вот теперь можно. Ишь, шустрый лягушонок какой!

Я и отдала им вешалку. И съела улитку главы делегации. Он ее сам для меня приготовил. И вот прошло с тех пор много лет, а я все еще гладкая везде, и ничего не висит у меня, и мне по-прежнему тридцать с хвостиком, вот. Хочешь, чтоб я повернулась?

Братцу ничего не сказала. Отцу тоже. Украли вешалку, сказала. Бог мне судья.

Бог-мне-судья: зрачок, спираль, накладные карманы, бесконечность. Смотрит, смотрит, а чего он там не видел?

И вот наконец наступил долгожданный праздник. Все нарядились в костюмы, сшитые по Сашиним эскизам: костюм-рояль, костюм-верблюд, костюм-бильярд. Всем было очень весело, а Галина Петровна выпила два стакана яблочного сока и стала со всеми целоваться. Она была в костюме-женщина: косы, юбка, чистое, без единой морщинки лицо, метла, красивые руки, сумка из верблюжьей шерсти, кепарь и рваные чулки «ребенок Линдберга».

— Саша, — сказала Галина Петровна во время медленного танца. — Хочешь, я тебе как-нибудь приготовлю эскарго на ужин?

Саша на минуту задумался, потер лоб, будто силился что-то вспомнить, потом решительно сказал: «Ага», — и с достоинством поцеловал Галину Петровну в переносицу.

*2001*

## ВЕРА, ВЕРОЧКА И ПАПА

Раздался громкий стук в дверь, и в комнату, запыхавшись, влетела курносая девочка Верочка, снимая на ходу рукавички.

Верочка полагала, что она хороша собой, но ее подруга Вера относилась к этой Верочкиной самоуверенности с малой толикой недоверия. Вера и Верочка познакомились на вернисаже. Потом они долго гуляли, взявшись за руки, по вечернему бульвару, шурша платьями и зонтиками.

— Нет сил больше жить. Нет сил бороться. Нет терпения. Нет смысла. Не вижу. Не хочу больше существовать. Смерти желаю. Небытия. Чему, ну чему вы так удивляетесь? Вы ведь скучные фильмы проматываете, дабы быстрее узнать, что в конце? А невыносимо скучные и невыносимо однообразные фильмы, что с ними делать-то? — делилась Верочка с Верой своими сомнениями.

Смеясь и спотыкаясь, Верочка подбежала к папе и стала его дразнить. Папа зарычал и захлопал крыльями. Папка-дурак, папка-дурак, кричала маленькая шалунья. Папа застучал когтями об пол клетки и стал разбрызгивать вязкое свое пойло. Тогда Верочка задрала платъице и показала папе кукиш. Папа совсем осатанел, разбил головой клетку, вылетел с клетком на балкон и, подобно новому Фазтону, полетел прямо к солнцу. Лицо девочки исказила гримаса, походка сделалась неуверенной. Раздался стук, еще громче прежнего — это папа выкобенивался на солнце.

Вера под первым попавшимся предложением стала душить Верочку. Верочка почти не сопротивлялась. Конец, наконец-то конец, — ликовала она.

На солнце с папой произошел казус. Как вы помните, мы оставили его на солнце в тот момент, когда он там выкобенивался. Навыкобенивавшись всласть, папа прилег в тени и заснул на солнце. И вот что ему, утомленному, снилось:

Вот он совсем еще молодой человек, и не сфинкс, а третьекурсник в модной стрижке с полупробором, решает задачу по сопротивлению материалов, балку рассчитывает какую-то, или что-то в этом роде. Вера сидит на подоконнике, пьет теплое молоко из бутылки и весело болтает загорелыми ногами. Она без лифчика. Лето в разгаре. Вдруг раздается звонок. И еще один. И еще.

А в это время Вера, закончив душить Верочку и удостоверившись с помощью зеркальца в том, что последняя бездыханна, тоже решила отправиться на солнце к папе, но не рассчитала сил и умерла от кислородного голодания в самой начальной стадии перелета.

В полдень папа проснулся: начинало припекать. Он сонно оглянулся по сторонам и поначалу глазам своим не поверил: перед ним на цыпочках стояла Вера. Она была точь-в-точь как зеркальце, а Верочка была похожа на солнечный зайчик. И этот зайчик бегал по папиному лицу.

«Добро пожаловать на солнце», — подумал папа, а вслух произнес: — Здесь вам кислород не понадобится, девочки. Здесь молекулы вообще нестабильны, я после обеда всё объясню, а сейчас — марш купаться.

— Ура! — обрадовались девочки.

И все они пошли купаться в желтом Солнечном море — Вера, Верочка и папа, причем, Верочка висела у Веры во рту, Вера у папы на шее, а папа в носках и задом наперед двигался по часовой стрелке вокруг Верочкиной щиколотки, благодушно урчал и моргал ежеминутно.

1993

## УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

### 1

Старший брат прислал младшему брату билет, чтобы тот в Америку ехал, их отец не хотел уезжать, и брат поехал один. А американский брат не очень хотел, чтоб отец ехал: они не ладили, у отца был тяжелый характер, и рука, и трахома, а с трахомой в Америку не пускали. И поэтому, когда отец сказал: «Никуда я не поеду, поздно мне жизнь начинать с начала», — старший брат особенно не горевал. Младший брат, Айзек, по-американски не говорил почти, только гуд-май, гуд-май, это его в дороге какой-то мишуга-социалист из Винницы обучил, означает: добрый день, братья трудящиеся, с наступающим праздничком весны вас!..

И вот пароход их причаливает к берегу, дождь мелкий идет, а дома все большие очень, он таких раньше ни разу не видел, откуда им в ихнем местечке взяться? Но еще больше больших домов поразило его множество евреев на пароходе и особенно на берегу — румынских, польских, всяких. Он даже сначала подумал, что попал в то самое древнееврейское государство, о котором ему рассказывал дед, тот, что не вернулся с русско-японской войны.

### 2

Здесь и далее будет множество элементов житья-бытья, не в вакууме живу потому что, а прямо и налево, но все же радикальней хочется чуть-чуть, замысловатей, уз-

наваемость — это на потом, это на сладкое, ну вот, допустим, хороший человек, без ума от детей, но пристрастился к спиртному и очень вследствие этого опустил, да так, что даже близкие от него отвернулись, — это понятно, чего тут распространяться, депрессия у человека или подруга ушла к другой. Ну, а вот, скажем, отличный семьянин, но спит с соседским сенбернаром, делает ему дорогостоящие подарки (намордник от «Картье» на Рождество приобрел элегантный, поводок из серебра 85-й пробы от «Тиффани» на Национальный День Четвероногого Друга) — это уже не так понятно, без пояснений не обойтись тут. Другими словами: нестандартные ситуации, асоциальные персонажи и новые психо-географические ландшафты требуют более подробных описаний и детальных мотиваций. Т.е. «Целую, люблю, всегда твоя сисиська» — это любой поймет, а «Не ненавижу, убью суку», и подпись: «Твое исчадие ада», — требует большей детализации или, как однажды не вполне аппетитно, но довольно образно выразился некий московский виолончелист, завсегдатай ресторана «Славянский базар»: гм, этой самой люля, милые мои старшекласницы, надоть еще ха-арошенечко разжевать ейные соки-моки.

### 3

Дедушка в молодые годы был футуристом. Не таким известным, как Бурлюк или Маяковский, но тоже не без имени. Авербах Соломон Осипович, так его звали, а для меня он всегда был русским дедушкой Солом. До Первой мировой дед Сол писал манифесты об интуитивном начале, о вечном беге «я» от «не-я», о кляче истории, плетущейся позади каких-то аэропланов жадных душ; к ужасу толстолица дяди Наума обзывал яснополянского старца светской сплетницей и грозился сбросить с паровоза истории прямо на железнодорожное полотно; расклеивал по Москве лис-

товки перед визитом крикливого Маринетти; разгуливал по городу со сморщенным пучком редиски в петлице засаленного сюртука — словом, раздавал оплеухи обществу на вкус налево и направо. Доставалось и своим. Отбил (ненадолго) невесту у Бенедикта Лифшица, о чем впоследствии сожалел. Выиграл в железку монокль у Бурлюка, вернул его владельцу через 10 лет уже в Нью-Йорке и так далее. После того как Лифшиц ушел на фронт, Бурлюк намылится в Японию, а оттуда в Америку, а Маяковского с потрохами заглотила революция, дедушка Сол стал рассуждать так: воевать я уже воевал на русско-японской, больше не тянет, к большевикам тоже не тянет — в рай на земле я что-то не особенно верю, посмотрите, что сделалось с этим мишугой (так в семье прозвали старшего брата, марксиста-каторжанина дядю Зиновия). Поеду-ка я тоже в Америку. Не устроюсь футуристом — выучусь на портного... Вот и Малка (так звали его молодую жену) пристаёт: бежать отсюда необходимо в срочности, пока не взяли за одно место, здесь нам жизни не будет, ты что, забыл Кишинев? А младший брат Моисей, тот, что играл до войны у Корша исключительно героев любовников, — ни в какую. И после войны, с которой вернулся седым и перекобаченным, — тоже ни в какую. «Ничего, — бодрился Моисей на перроне. — Не все ж Ромео играть. Пришло время себя в Ричарде Третьем попробовать. Кому зима тревоги нашей, а кому в Америку, за кашей!». Он любил экспромты. «Ты только смотри, чтоб не бедного Йорика. Там роль очень маленькая. И без слов». И Соломон потрепал младшего брата по небритой щеке.

4

Тут главное сразу же, без проволочек, выявить, сволочи ли они. Тут одно необходимо понять: поджигатели

ли они, бунтовщики ли, агитаторы, заряющиеся на чужое, или чужое — это на самом деле, как утверждают ихние профессора-социогенетики, хорошо забытое ихнее? Луддиты ли они, бандиты, на миллионы воротил наркобизнеса швыряющиеся песком-рафинадом в хорошо налаженный и бесшумно, хоть и порой вхолостую, работающий механизм государственной машины. Нашей с вами машины, дамы и господа налогоплательщики. Кормящей матери наших отцов, что подставляла и подставляет под жаждущие уста Ромула и Рема сосцы правосудия и законности, историю не забыли еще? Э. Гиббона? А? То-то. Разорители гнезд наших, и не в параллельной реальности, а тут, под носом у нас! Немедленно прекратите вашу разрушительную деятельность, ублюдки!

Кто вы? Вас не увидишь в новостях CNN и FOX News, вас не услышишь по радио. Вы не выгуливаете ваших чао-чао, одновременно распекао, да, распекао бестелесных бойфрендов по мобильникам. Вы сокрыты от взорov, как маленькие грибки между пальцами ног усталой уборщицы пани Милены, что временно поселилась у свояченицы в Вильямсбурге, там дешевле продукты и легче с языком. Будьте же прокляты тогда! Дураки несчастные!

И то: яйца ихнему атаману облизать облизала до воистину миллиардного блеску девочка красивая с упругостями и впадинками. Потом они оседлали ея, задали плетей. Она постанывала, но аккуратненько так, они не изошли, задержали. Он накрыл ея лобок ритуально тряпкой лобковой, ажурной, домашней вязки, что баба Хилина из Осло вывезла с риском для жизни и прочими ценностями. Стали поджигать по краям. Она заголосила в страхе еще громче прежнего, пуще раннего. Они тогда осторожно так ввели многочлено в ея рото-поло. Ее братец-шпагоглотатель наименования определять возбранил

им раз навсегда. Либо-либо, сердитой. Налегли, но не на весла же, на омлет из одних белков анемичный, отдуваясь за всех: жарко.

Тогда так было: кто отбил ее от жизни вздохом, преднамеренно: так? Сам Kolchak. А точнее — дурак-членовредило мамино. У нее же пятки красивые, в каждой, считай, по влагалищу сокрыто, как мышка-ворушка, но без зубьев без ихних, без резцов. Это не бред, я сам видал, есть свидетели. Это из жизни-болванки. Выдумывать не приучен. Пишу натуру, но чуть красочнее, чем она, с композиционными тоже излишествами и перекосами, и потом еще, чтоб в продажу пустить это. Я пишу, чтоб вам жилось легче далее, когда ни меня, ни смерти не будет уже почти. А впрочем, живите как знаете, едоки лотоса. Скоро уже. Скорее даже, чем в прошлом предположительно.

## 5

Однажды знакомая сплетница-барабанщица из пост-феминистской команды Attaboy сообщила мне театральным шепотом на сорокалетию у адвоката Джона О'Райли, что Костина прапрабабка была той самой полугречанкой, на которой в молодости был женат И. А. Бунин... Не знаю. Не знаю, откуда у этой смазливой дуры, так и рвущейся из декольте при виде мало-мальски грамотно прикинутого холостяка (и я не только о себе, но и о Джоне, хоть он и женат на очаровательной Дороти П., а также о самом Косте), такие сведенья. Действительно, откуда в роду одесситки Анны Цакни, впоследствии де Рибас, мог появиться праправнук Коста, к тому же стопроцентный грек, к тому же торгующий (точнее, торговавший) газетами на углу Хаустон и Томпсон, неподалеку от моего любимого тибетского ресторана?..

Бедный Коста! Когда его, взлохмаченного и полуголого, нашли на Кони-Айленде, придавленного дверью телефонной будки, с ужасной двухметровой трубкой в стиснутых зубах и птичьими стеклянными глазами, крики мальчишек: «Сахарная вата здесь! Ледяное пиво тоже здесь!» — действительно были здесь, а не там, куда направлялась в те минуты его душа. Женщина-змея с девочкой-ящеркой нашли его во время ланча. Змея в изумрудного цвета трико открывала дверь в будку, мысленно готовясь опустить горячий «квотер» в щель автомата и набрать пейджер санитар-мужа, дабы обсудить с ним детали предстоящей увеселительной поездки по Гудзону, и тут малютка ящерка как заверещит: «Мам, глянь! Клоуна замочили!». Змея чуть сэндвичем не подавилась — так поразила ее эта картина. Нос и парик покойного особенно. Она и позвонила — в участок, разумеется, не мужу. Ну, те в два счета: протокол, змею, свидетелей... Ящерка о своем нинтендо даже позабыла, всю субботу прохныкала, заснуть не могла. Шесть лет, они очень чувствительные в этом возрасте. (У Косты детей не было: «Не хочу брать ответственность за чью-либо жизнь в мире, который не вселяет ни уверенности, ни надежды». Его слова.)

Что я знаю о Косте?

Коста выпивал. Крепко выпивал. Когда в ресторан заглядывали итальянцы, Коста был уже поддатым. Лайа его распекала, пробовала не давать — все впустую. Вином пахли его усы, загар привлекал совсем маленьких. Из-за вздутой марли, что им занавеской третий сезон служила, Лайа видела все. И фиолетовый фаллос сотового телефона

в руках дрожащей от усталости толстогрудой Моники из Неаполя, и Косту, важно показывающего ей достопримечательности прошлой осени.

— Минарето, — говорил Коста чуть брезгливо. Лайа не ревновала. Дзен, годы медитации, йога на коврикe. И к кому? К двухнедельным бездельницам, ищущим транзитной полноты ощущений в их пансионе? К маленькой смуглолицей Барбаре, у которой, судя по лавине тампонов в ванной, никогда не прекращались месячные?

Коста летом ходил в кепке. Моника смеялась: голова дышать должна, Коста. Там поры. Коста фыркал только. Он не знал по-итальянски.

Однажды Моника уронила на пол фиолетовый телефон Косты. Телефон треснул. Коста помрачнел, встал с Моники, налил себе вина. «Кванто коста, ступидо?» — спросила белобрысая студентесса. Мол, куплю, куплю тебе новый, не дергайся, смотри лучше, как у меня тут влажно и притягательно. Но он был упрямый и вспыльчивый грек из маленькой туристической деревушки, где даже ослы имели задницы велосипедистов и велосипедисток.

Лайа, конечно, все видела из-за марли, но не ревновала. К кому? К неаполитанской простушке, у которой, судя по слою мокрой пакли в отливe, катастрофически выпали волосы? Перебесится козел.

## 8

В ресторан заглядывали немцы и спрашивали блюда, названия которых не могли выговорить. Какая на хер дер паклафа?

Барбара устроилась на лето посудомойкой в соседней деревушке. У нее было приветливое круглое лицо и несколько золотых зубов, в которых отражалось Эгейское море, лишенные растительности невысокие горы, взду-

вающаяся марля и сотовый телефон Косты, но уже не фиолетовый, а красный, оставленный Моникой на добрую память о летнем отдыхе. Однако сколько можно жить прошлым, сколько можно ждать, когда тебя заметят и сочтут возможным взять сзади?

Ей нравился запах вина Косты, нравился его мутный взгляд, густые волосы на груди и животе. Возможно, она была из Албании. Ох-ох, вздохнула она полной грудью, когда Коста решил тряхнуть с ней стариной в обеденный перерыв в подсобке. Он был очень с нею целенаправлен, а она... она не могла... или могла... вы знаете, трудно об этом, сейчас особенно.

И Коста увез ее в другие края.

Лайа и ахнуть не успела, когда сказал ей Коста: все, Лайа. Затряслась: да как ты смеешь, что я тебе, девка — как перчатку в лицо Фортуны меня? Дзен дал сбой в тот день. Взяла мотоцикл в город, на повороте не сбавила скорость, расшиблась среди холмов в темноте.

Плоские крыши белых двухэтажных домов, край голубого неба — вот вид из больничного окна. Только в августе вернулась в родной Хобокен, штат Нью-Джерси. А родители предупреждали ее: хорошо подумай, Лайа. У тебя вся жизнь впереди, девочка. И дело не в том, что он грек и старше. А в том, что поддает и грек.

## 9

И опять голубое, ни облачка, небо, но уже в совершенно другой стране. Серебряный, взятый напрокат «Рено», природа, бензоколонки, сосны на отвесных скалах, какие-никакие утесы, скорее Испания, чем Италия, скорее Аликанте, чем Малага, указатели на непонятном языке... Болел живот, все соки были брошены на борьбу с непривычной пищей. Барбара любвеобильно чмокала, терлась тот там, то

сям, пренебрегая нормами поведения на переднем сиденье. Говорили, и не раз: «Доберемся до отеля, а там...». Но ведь хотелось сейчас, и набухало тоже сейчас.

Хотя любовь для Косты перестала быть во главе угла лет пять назад, когда пьяная шведка Николь ошпарила его из ушата во время соития в сауне. Не тянуло боле к заезжим гаитянкам, как до смерти мамы; не хотелось постоянно, как в июле, когда он, семнадцатилетний, шел через площадь Стигмата к музею Авиации и мысленно имел всех подряд: молодых, совсем молодых, немолодых, хромых. Сейчас не то: три девахи — одна рядом, Барбара с татуировками в немыслимых местах, и две лесбы сзади (Хлашка и Лотта) были частью ландшафта, правда, ландшафта мобильного. Праздник, который всегда у них. Все правильно: влагалища. Все верно: поднатужатся и произведут. Ну, и? У барсуков вон тоже влагалища; и перепелки производят. В чем цимес, популис? Чтобы не умирало все вокруг, в этом? А радуется то, что вокруг? Не очень? 4000 лет говна, но будем надеяться, что через год-другой все переменится, и непременно к лучшему? И озон восстановим, и ледники заморозим, чтоб не таяли, где не надо. Хрен переменится, хрен восстановим. А чего тогда суетиться под клиентом, граждане пассажиры, чего заглядываться на плохоподмытые задницы противоположного пола и непременно хотеть их, и все ради того, чтоб и ты жил через 100 лет в таком же точно говне, но под другим именем и с другими телепередачами?

10

Барбара, сюсюкая, сообщила, что ей надо, куда маленькие девочки ходят.

— Это по-большому или поссать? — спросил прямолинейный Коста.

— Какая разница, мне выйти надо, зачем тебе детали, извращенец?

— Где ж я те выйду тут? — возмутился Коста. — Подождешь до следующей заправки.

— Следующая — это когда?

— Десять-пятнадцать километров.

— Так десять или пятнадцать? Десять я потерплю еще.

— А пятнадцать? Устроишь нам всемирный потоп?

— Нет, но...

— Не ной. Ничего с тобой не будет.

И действительно, ничего с ней не было. Дотерпела до отеля.

В трехзвездном отеле «Sug» было шумно и воняло, как в двухзвездном.

От бассейна несло хлоркой. Лотта сразу пошла кадрироваться к шезлонгам. Немногословная Хлашка стала тереться об Косту и тупо смотреть ему в глаза. Девяткос стал твердеть. Барбара вышла из туалета, предупредила:

— Guys, не входите пока, ладушки?

— Ага, — сказал Костя и положил руку на Хлашкин лобок.

— Теплый, — хмыкнул он. — Как пельмень. Или гуго. Смотря откуда ты.

— Нагрелся, — буркнула Хлашка и стала расстегивать Костины джинсы. Его розовый бычок стал приятно большим и упругим, как беременная ставридка.

Потом они лежали в темноте и курили.

— Был дружок у меня, Тору. Тору Нобе. Веселый такой хлопчик из Осаки. Куросаву любил, даже двух Куросав, уток стрелял, умел по-ихнему токовать или ворковать, звуки, короче, издавать утячьи. Фехтованием занимался, брал призы в Токио. Влюбился в одну евреечку из Одессы, они практику у нас проходили. И все, пропал хлопчик, капут парню, привет из Нагасаки. Ходил под окнами общаги, вы-

свистывал зазнобу, камушки в фортку кидал, стекло разбил однажды, в кино звал на «Дерсу Узала». Она — ни в какую. Узкоплечный, говорит. Как я его родным покажу, девчонки засмеют. От ворот поворот, короче. Вот такая косность мышления. Ну, он в Одессе по-любому решил остаться, чтоб поближе к ней быть, значит. Обрусел, женился на почтальонше одной из Березовки, на свадьбе всем говорил: жена у меня не хухлы-мухлы — лаботник, ед-лить, «Союзпечати».

— А с зазной что?

— С зазной? А что с ней станется? — и Костя выключил электричество. Устал в дороге, да и не шибко любил трывдеть с бабами после интима.

## 11

— Что такое время, задумаемся на минуту давайте.

— Что?!

— Что есть время. Категория времени. Субстанция времени. Помыслим?

— Что? Что «помыслим»? С каких пор ты уже философ?

— Нет, а правда, что это — время?

— Время — это когда приходят гости, а тебя еще нет. И они топчутся перед дверью, и никто им не отвечает. Звонят, звонят, уже обижены, уже хотят уйти, напрасно вино покупали. И тут — ты. Сто раз извиняешься, выскочил за куревом. И ты радостный, покрасневшийся, пальто нараспашку, без шапки, а октябрь меж тем выдался холодный — и одна из гостей, ее зовут Ронни, подозревает, что у тебя появилась новая девушка, но Ронни и не догадывается, что твоя новая девушка — не кто иная, как ее лучшая подруга. А гостей пришла тьма, и еды была куча: и сухарики, и салатики, и соусы, и паштеты: из гусяной печенки и вегетарианские. Три бутылки шампанского! И невольню задашься

вопросом. Кто отвечает за все, что вокруг нас, кто руководит мирозданием, это ведь колоссальная система, на само-тек ее ну никак нельзя. Кто выпускает прелестных девушек на набережную? Тонких, стройных, за которыми хочется идти, а, поравнявшись, сказать нечто необычайно забавное? Молчок в ответ. Не достаивают в ответ на. И когда турист упал с мотоцикла на небольшой скорости, но все равно сломал руку, его тонкая, стройная девушка (Ронни) изменила ему (виртуально) с менеджером интернет-кафе. И это его вывело из себя, и надолго. И он написал футуристическое произведение, которое начиналось так: С жопы неба потекло уже; хуй-солнце залупой лучей не обжигает кожу боле. В некотором смысле Ронни хуем режут. Ронни гогочет уся в крови, легкомысленной Ронни зубы сапожищем выбивают грязным. Ронни: мало, кричит, еще давай! Ронни вже изнемогает под бременем (вот что такое время, уроды!) совокупления. Вижу вас впервые тут и поелику ни вы меня, ни я его не осмеливаюсь расспрашивать о моих побуждениях и ее планах ничего. Ни звука. Омерзительное колдовское питье, дьявольская смесь жестокости и сладострастия. В заповеднике безоглядных политических и социальных утопий (голосуй не голосуй — все равно получишь нуль) отец пользуется сына заместо скрытой камеры. Уникальный случай.

## 12

Кто они, эти суетящиеся люди без имен, без биографий? Люди, чьи жизни безразличны нам, чья смерть не станет нашей трагедией? Эти толпы в метро, эта галдящая молодежь — к бармену не протиснуться, — обменивающаяся банальными двусмысленностями. Горланящая, как горланили их прадеды, не вернувшиеся с Великой Войны, их покойные прабабки, дымящие предсмертным «Чес-

терфильдом», дерзко глядящие в глаза героям в военной форме. И галдящие. Ах, когда и к нам наконец придет новомодный «фокс-трот», когда и у нас его будут писать без дефиса и кавычек, а, Гарри?

А, Гарри?

А Гарри молчит.

Неподвижен твой Гарри в окопе, в противогазе. Нема тут Гарри, бабушка. Твой Гарри на войне остался.

### 13

«Я патологически инертен, — рефлексировал Костя Девяткос в гаитянской кофейне на Поткин-стрит за несколько дней до случившегося. — Для меня, *mutatis mutandis*, перейти с глючащего как зараза компьютера на бумагу, которой не страшны ни горе, ни беда, ни катаклизмы мирового масштаба — был бы свет да чашка кофе в конце тоннеля, так вот, говорю: для меня переход этот равнозначен переходу Суворова через Альпы. Т.е. это маневр, это часть кампании, это может предрешить исход сражения».

### 14

В один из тех октябрьских дней, когда о дождях и думать никто не думает, а думают все больше о лете, которое вот только что было оно и нет его, а листья — те знай себе облетают и крошатся под подошвами горланящей разную фигню молодежи, Костю Девяткоса крепко пропесочили в стенгазете. Костю Девяткоса! С исторического! Нашли кого! И за что? За разврат. Нет, ну вы видели такое? Какой разврат? Ведь он, кроме женских форм — к тому же весьма и весьма стилизованных — на поганенькой репродукции барельефа времен фараона Шишака да двух-трех статуй барышень из Восемнадцатой династии, в упор противоположный пол не видел. Не любопытствовал. На Белку-

Стрелку разве глаз на третьем курсе положил — и то кратковременно. На девочек же лаборанточек — ну нуль внимания, хоть и острогруды они были, и крутобедры. И даже когда Настик Пилипенко эксперимента ради трусики ему дала нюхнуть в газете, он, недотепа, возьми и ляпни: «Фарш. Нет, не фарш. Беру свои слова назад. Гуашь, а не фарш. Я знаю: у меня сеструха малюет». Не его это сфера, короче. Ну что вы пристали к парню?

## 15

Некролог: лицо то, а фамилия не та. Но фотография — явно та. Но ведь кроме имен, у людей есть биографии, годы рождений. В русской газете некролог и в американской. И в них расхождения. Авария, а в русской не указано, что авария. Сказано: скоропостижно. Три некролога: муж, семья мужа, еще кто-то. Родители в Одессе. Друзья. Она подрабатывала моделью (манекенщицей). А на самом деле...

Нельзя возвращаться в тот же город.

Он ехал на похороны бывшей жены и вспоминал, как они познакомились, вспоминал эпизоды из ее детства, вспоминал, как она изменяла ему, сколько горя принесла и обид. Как он бил ее наотмашь... Много всего было. Раком ебал девушку в городе Арле с видом на маки ван-гоговские, п... сухая была, неподатливая. А все равно ебал.

А это она в гробу? Вроде она. Вроде? Ну, в гробу они все чуть другие. Вместе «Последнее танго» смотрели. Там муж у гроба жены монолог читает. И так вышло, что хоть жили они как кошка с собакой, но роднее ее у него так никого и не появилось.

## 16

сама из питера с братом. отличница, но с грудью крепкой троєчницы. они в коммуналке жили на василь-

евском. поздно вечером все ушли в бдт, она показала мне, где раки зимуют. красиво. мы в мастерской у ее брата сидели, он нам слайды показывал. так и прошло это время, как пройдет и это, а за ним и это. и мне не жалко прошедших дней, мне несбывшихся надежд жалко. но и их мне не жалко. мне ничего не жалко. ни себя, ни вас, ничего. вызывать желания, удовлетворять их, не жалко мне. мне все время хотят что-то продать, вещи или идеи, возбудить интерес именно к этой паре обуви, этой модели реальности. не хочу, не нужно, не жалко. все это за дверью, за скобками, это лишнее все. прославиться, рассмешить, разбогатеть, вписаться в контекст, осеменить. не хочу, не надо, не жалко мне.

## 17

Встретил женщину, жил с ней когда-то. Она по-прежнему привлекательна: сапоги, стрижка, бедра. А я осунулся, в каких-то дурацких носках и галстук вывязан неубедительно. Договорились встретиться.

В кафе.

Говорить не о чем. Вдруг она сообщает, что изменяла мне, когда мы были вместе. А я: а я знал. Ничего ты не знал. Знал. И о Н. знал? И о Н. От кого? От М. Врешь. Не вру. М. ничего не знала об этом. А вот и знала.

А жизнь уже прошла почти. А мы сидим, спорим. Спортивный интерес, но вялый. Охота к перемене мест, но латентная.

## 18

Травма перемещения, мой милый, не так ощутима, если перемещаться с гидом, говорит эта молодящаяся тварь.

Слева ослик, болтая хвостом, щиплет пожухлую травку. Справа — сезонные рабочие из города Ужгорода.

И именно в этом месте к ослу скорым шагом приблизился рабочий из города Ужгорода и огрел животное плетью. Осел даже не шевельнулся. Эта садистская акция произошла в греческой деревушке Перисса 4 сентября 2001 года по новому стилю.

И еще потянуло: мертвой хваткой вцепившись в супруга, спускалась по лестнице меццо-сопрано. Это лучшая моя половина, — сохранял хорошую мину при плохой игре ее спутник.

Не то мотоцикл трещит, не то осел объелся. Рано темнеет в деревушке Перисса.

## 19

Что они там делали такое в детстве на даче, в старой папиной «Победе»? Закрывали ладошкой буквы, говорили: плыл пароход? «Победа». На всех не хватило? «-обеда». С поваром вышла? «--беда». В трюме пропала? «---еда». Я тебе нравлюсь?

Потом он садился за руль, она рядом, ее брат сзади — и они изображали путешественников. В детстве часто играешь в путешественников, едешь в дальние страны, в дороге знакомишься с попутчиками, потом оказывается, что вы из одного города или у вас общие знакомые.

## 20

Автор сего возопил, был с ним такой случай: услышь меня, Владыко, Вседержитель Ты растаковский. И что вы думаете? Услышал. Вам мои слова, маловеры: *нищ я и беден, но я лучше, когда, опротивев себе и стенаю, втайне*

*ищу милосердия Твоего, пока не восполнится ущербность моя и не исполнюсь я мира, неведомого оку гордеца. Речи же, выходящие из уст, и дела, известные людям, искушают опаснейшим искушением: любовью к похвале, которая попрошайничает и собирает голоса в пользу человека, чтобы его возвысить.*

Так чернокожий координатор-привратник подле некогда модной ресторации «Валтасар», что в Сохо, резво снимет с курчавой главы воки-токи и обратится к водителю стретч-лимузина: «Ну его». — «Ты чего?» — спросит квелый Аквамедон. Очень душный вечер, очень вялая агрессия очень вяло преобладает. «На чай не дают, я домой потопал. Дашь пахитоску на дорогу?» А какие могут быть чаевые в этот час, в этот будний день? Я там сорок минут проторчал на скамейке; может, два человека за все время ответили на его настойчивое: «Транспорт не желаете?». Отрицательно, причем.

## 21

Подсаживаются новые персонажи, а у каждого своя жизнь, семья, заботы. Не просто маски, что маски! но социальные типы. У одного отец воевал, другому дали срок за хищение социалистической собственности, кто-то умер в тюрьме, кто-то повесился в сарае из-за неразделенной любви. Кто-то стал сказочником, прославился, книги перевели на многие европейские языки; кто-то отправился в кругосветное путешествие, вернулся с красавицей-невестой, она прекрасная хозяйка и очень чистоплотная, но вот беда: тоскует по Тайваню, там остались родственники, страдающие гайморитом, три поколения изнывают от острого гайморита, пишут, что нужны лекарства от гайморита, и срочно, а денег на гайморит нет, неужели нельзя помочь людям, гайморит у них?!

Дед мечтал об Америке, но не поехал, не сложилось, другой и не мечтал, но поехал и тоже не сложилось, а кто-то и мечтал, и поехал, и сложилось, но вот кто? И почему он не отвечает на письма? Работает много, поэтому. А тетя Эстер и работает, и отвечает, и пишет брату крупным почерком почти без помарок:

«Светлячков в Пенсильвании принимаешь за искры, летящие из-под капота. А в голове ворочается: «Еще не хватало застрять. На хайвее, ночью».

И только подъезжая к Чикаго, понимаешь: за тобой следят. Бывший друг? Но ведь бывший друг — это враг. Вооружен и опасен? Или просто дурак. И поэтому тоже опасен?»

А искры из-под капота показались только в Неваде. И чуть позже стал валить белый дым. Едва дошипели до мастерской в Сакраменто.

«Что я имела с этим билетом и как я намучилась в дороге, это одна я знаю, и сколько буду жить — не забуду. Чего мне стоило добраться до этого порта и сесть на этот пароход, что пришел на два дня позже, чтоб ему было пусто, а капитана чтоб скрутила болячка и долго не отпускала, — это тоже одна я знаю и врагам своим не пожелаю, потому что враги — это те же самые мы, что б там не говорил наш ребе. Это была мука, и это была пытка, и люди не должны на себе этого переносить, но я хорошо должна была на себе это перенести вместе с трехлетним Мойше, чтоб он этого горя больше в жизни своей не видел, а видел одно только счастье, один нахэс, Готыню, за что? Но я должна была это пройти и перенести это».

И дальше, на трех страницах — о ее злключениях, о том, как они добирались на подводе до порта в Малых Стручах, и как ее с ребеночком хотели снять в Гамбурге с судна, где они спали на бочках с селедками из Голландии, и как их потом чуть не отправили назад с Эллис-Айленда, потому что Мойше прихворал в дороге и из носа у него текло как я не знаю что, и как она высматривала на набережной мужа и думала: неужели он так изменился за эти три года, а он таки изменился, но кроме того, не пришел: остался работать вторую смену в магазине женского платья какого-то Перкеля, где паковал нижнее белье и лифчики, на них был тогда самый настоящий бум, суфражистки из корсетов повылазили, а на работу надеть нечего, ускорение производства, тейлоризм, ретардация нарратива, но и приглашение к путешествию — есть еще места.

*2007*

## ВЕНЯ «ЛАСТОЧКА»

Веня по прозвищу «Ласточка» имел сомнительную репутацию. И дело тут было вовсе не в его неспособности правильно предсказывать погоду.

Однажды он переоделся женщиной и надел парик. Но все его тут же узнали и разоблачили его обман. Все недоумевали: «За кого он нас принимает?». Одна Л., фармацевт, не узнала Веню в новом обличье и угостила его сливочным мороженым с вареньем и орехами. Веня был тронут вниманием девушки. Он снял парик, и тут Л., фармацевт, мгновенно признала хитреца. «Веня, а, Веня, предскажи погоду на завтра», — попросила она мальчика и подмигнула всем. Веня на минуту задумался, встал со стула (он сидел на стуле) и затараторил: «Небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха +14 С<sup>0</sup>».

— Ой, врешь, — сказала Л., фармацевт, и снова напялила на Веню парик. Веня обиделся и ушел, хлопнув дверью.

На следующий день выпал снег. «Он неисправим», — нежно думала о Вене Л., фармацевт, по дороге на работу. Навстречу ей шли все и улыбались своим мыслям. А вечером Веня пришел к ней в гости. На нем был строгий костюм, в руках у мальчика были гвоздики. «Это тебе», — смущенно сказал Веня. Л. так и вспыхнула.

Потом они пили чай на кухне. А чуть позже Л. показывала Вене «Ласточке» фотографии своих родных. «Это папин дядя, он тоже был фармацевт», — говорила девушка скучающему Вене. А в четверть первого они занимались

любовью прямо на паркетном полу в гостиной, и при этом ягодицы Л., фармацевта, симпатично подрагивали. И все это не выдумка, а так оно и было в жизни.

А наутро холодно было — страшное дело. Температура  $-10\text{ C}^0$ , ветер северный, гололед, но солнечно, и на небе — ни облачка. Веня проснулся в 8:30 утра, выглянул в окно, и вдруг до него дошло, что теперь он уже никогда не будет предсказывать, какая завтра будет погода. Не его это дело. Но зато теперь он будет встречаться с фармацевтом Л., пить с ней чай на кухне, ходить в кино и в гости, и все теперь уже не будут над ним подтрунивать, и строить ему рожи, и петь ему вслед дурацкие частушки, типа:

Если Веня высоко — значит буря далеко,  
Если Веня низко — значит буря близко.

Рядом с Веней тихо похрапывала Л., фармацевт. Под левым соском у нее была небольшая родинка. Веня вдруг почувствовал, как член его увеличивается в размерах — и улыбнулся.

1992

## СОДЕРЖАНИЕ

От автора .....	7
Прощай, Дос Пассос! .....	9
Уроки вождения и другие уроки .....	13
Как Толстой Шекспира не любил .....	21
Полное погружение .....	24
По ту сторону Тибра .....	27
Эльдорадо .....	31
Музыковеды и школьники .....	41
«Подуйте мне в рот!» .....	43
Моряк в час .....	65
Пять легких пьес .....	67
Последние слова .....	78
Юность Береле .....	82
В гостях у девочек .....	84
Филолог Оля .....	86
Один дед, две судьбы .....	92
Огниво-76 .....	95
Одноклассники .....	104
На Волге .....	106
Летом на даче .....	110
Короткая жизнь Безрукого .....	113
Take care of this .....	118
Для отвода глаз .....	124
Вера, Верочка и папа .....	128
Уникальный случай .....	130
Веня «Ласточка» .....	149

Літературно-художнє видання

СЕРІЯ «Бібліотека “Крещатика”»  
Заснована у 2023 році

Павло ЛЕМБЕРСЬКИЙ

---

ЗНОВ ДВАДЦЯТЬ П'ЯТЬ:  
ОДЕСЬКІ ТЕКСТИ  
*(російською мовою)*

Макет обкладинки і верстка  
Друкарський двір Олега Федорова  
Формат 60x84 <sup>1/16</sup>. Наклад 200 прим. Зам. №9442  
Папір 80 офсет. Друк цифровий. Ум. друк. арк. 9,5  
Гарнітура «Cambria».  
Підписано до друку 28.03.2024 р.

Видавець Федоров О. М.,  
«Друкарський двір Олега Федорова»  
Адреса: а/я 24, Київ-205, 04205, Україна,  
e-mail: [relaks-oleg@ukr.net](mailto:relaks-oleg@ukr.net)

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,  
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції  
серія ДК № 3668 від 14.01.2010 р.

Віддруковано в друкарні ТОВ «7БЦ»  
Адреса: 07400, Київська обл.,  
м. Бровари, б-р Незалежності, 2/148  
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,  
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції  
серія ДК № 5329 від 11.04.2017 р.



**ПАВЛО ЛЕМБЕРСЬКИЙ** народився в Одесі, з 1977 р. мешкає в Нью-Йорку. Закінчив філологічний факультет університету Берклі, штат Каліфорнія, аспірантуру факультету кіно Сан-Франциського університету. Пише прозу російською та англійською мовами. Працював у нью-йоркській радіо- та кіноіндустрії. Оповідання перекладалися німецькою, фінською, англійською та іншими мовами та публікувалися в часописах України, США, Німеччини, Ізраїлю та ін. Автор збірок «Річка № 7», «Місто спадних просторів», «Унікальний випадок», «За тебе, малюче», «Де Кунінг», роман «У п'ятсот веселому ешелоні» і, англійською, «200 новеньких блискучих кадилака». Збірка оповідань «Fluss # 7» вийшла у Франкфурті, а збірка «The Death of Samusis, and Other Stories» — у Бостоні.



**ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР  
ОЛГА ОБОДОРОВА**



9 786178 169442